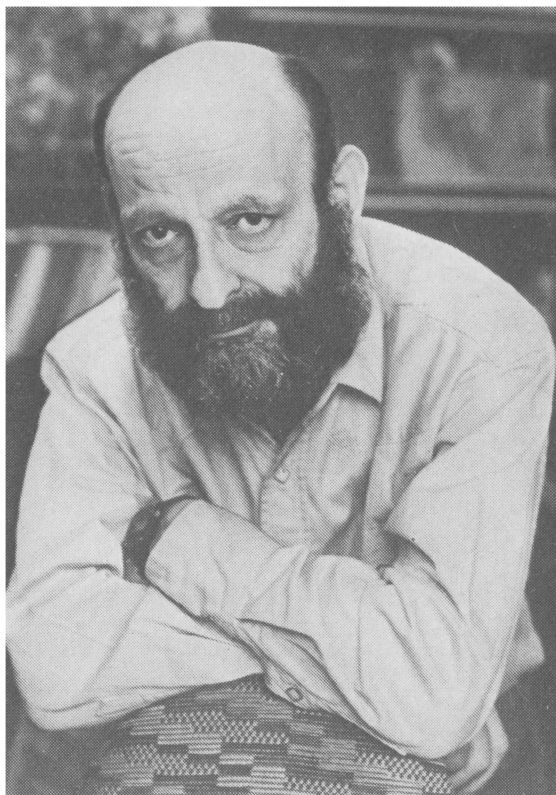


БИБЛИОТЕКА



МОСКВА



№ 10 1991

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 10

Издается с января 1925 года

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗ

Москва. 1991

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

Юрий Аркадьевич Карабчиевский родился в 1938 году в Москве. Окончил Московский энергетический институт. Работал техником, инженером, рабочим по ремонту научных приборов. До 1988 года все произведения Ю. Карабчиевского — стихи, статьи, художественная проза, литературные исследования — публиковались только на Западе. В 1979 году Карабчиевский принял участие в независимом альманахе «Метрополь» (поэмы «Осенняя хроника» и «Элегия»). Наибольшую известность за рубежом и в России получила его книга «Воскресение Маяковского», вышедшая в 1985 году в Мюнхене и удостоенная премии имени Владимира Даля (Парижское жюри под председательством Виктора Некрасова). В СССР эта книга была выпущена в свет издательством «Советский писатель» в 1990 году. Начиная с 1988 года, произведения Ю. Карабчиевского публикуются в журналах «Новый мир», «Огонек», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная Армения», «Даугава», «Искусство кино», «Театр», «Юность», «Нева» и др.; выход его книг ожидается в издательствах «Советский писатель», «Слово», «Столица».

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ

1.

Она звонит мне в субботу вечером. Мне приятно слышать ее певучий голос, вполне еще, я бы сказал, молодой и только на самых спусках фраз срывающийся в старческое поскрипывание.

— Как ты завтра утром? Я не очень тебя отрываю? Ну вот, хорошо, спасибо. Мы не надолго. Ничего с собой не бери, я все привезу сама.

Утром мы встречаемся с ней у метро. Я приезжаю минут на десять раньше, но она уже там, сидит на лавочке, еще издали, из окна автобуса, я вижу ее сгорбленную фигуру в сером плаще и огромную сумку рядом. Она улыбается мне радостной, но и сдержанной, но и ущербной улыбкой (другой у нее не бывает с тех самых пор...) Я целую ее чистую мягкую щеку и сажусь рядом.

— Ты давно?

— Нет, полчаса, не больше. Отдохнула. Ты же знаешь, какой я ходок. Ну, так я лучше выйду пораньше, чтоб тебя не задерживать.

Мы немножко беседуем о том, о сем, и, отвечая на каждый ее вопрос — как дети, как мама, как на работе, — я успеваю привычно удивиться ее ненавязчивости. Она действительно хочет знать, но никак не станет влиять на мои ответы, а что расскажу, на том и спасибо. И поэтому я говорю охотно, подробно, порой чересчур подробно.

— Ну-ну, слава Богу. Мы сначала побудем у дяди Мишуни, сделаем все, что сможем, потом сходим к дедушке, потом к бабушке, а к тете Полуне уже не пойдем, ты и так потеряешь много времени...

Вставая к автобусу, она с усилием расправляет спину, навсегда согнутую спондилезом, и идет торопливо, почти легко, а я удивляюсь тяжести сумки, просто чудо, как она ее несла.

В автобусе душно, полно народу, и потом, когда мы выходим, полегче, но тоже жарко. Я в одной рубашке, но весь в поту, а она ежится в своем плаще, застегивает его на последнюю пуговицу. Мы входим в ворота, сворачиваем направо и идем по дорожке между оградями, мимо серых, красных и черных камней с русскими и еврейскими буквами. Это новая территория, здесь все вперемешку. Как всегда, когда я попа-

даю на кладбище, начинается во мне эта внутренняя работа, новая тревожная жизнь. Здесь и особое странное чувство: смерть, ужас, тайна... И еще больше — необходимость особого чувства: вот оно, то самое, перед тобой, что же ты, давай, чувствуй, скорее, острее — смерть, ужас, тайну...

Это новая территория, деревьев здесь мало, редкие пятна тени маят и притягивают, и легко, без задержки, почти не дав облегчения, выпускают дальше, в открытое пекло.

— Может, ты отдохнешь, — говорит она, — сумка такая тяжелая?

— Тебе была легкая?

— Ну, я привычная. И меня же везло метро...

Поворот, еще поворот, угловая ограда. Проволокой примотанная калитка, заросли трав и кустов, дешевый серый камень из мраморной крошки... И как я ни распарен и ни притуплен, а свежий такой холодок пронизывает меня от макушки до пят: я вижу свою могилу. На камне выбита моя фамилия, большими буквами, без единой ошибки, и я с запозданием, сначала естественным, а затем, через мгновение, уже нарочитым, сползаю взглядом на мелкие буковки имени-отчества и дальше, на годы жизни. Нет, там под камнем не я, там мой дядя, Мишуня — Михаил Моисеевич, как звали его чужие. Эта надпись выбита — для чужих... И еще для чужих — не для своих же: «Незабвенному мужу, отцу и дедушке». Кто это придумал? От жены, от дочери, от внучки. Не от меня. Ну что ж, справедливо. Я и должен быть ото всех отдельно. И не потому, что я был ему дальше, это вряд ли, просто отдельно, и все. Значит, дядя Мишуня там, под этим камнем, метра, наверное, полтора, и пятнадцать лет, так что там, под этим камнем? Гнилые доски, кости, остатки истлевшей одежды? Эти мысли не только ужасны, они и бесплодны, и я их с усилием от себя отвожу. А его жена, то есть вдова, стоит здесь рядом со мной, такая картинка, и ее плечи в скользком плаще «болонья» я обнимаю где-то внизу, потому что она опять забыла про свою осанку и, расслабясь, согнулась, как пружина, почти под прямым углом.

— Ладно, — говорю я, — тетя Женя, давай работать. А то еще дождь пойдет, вон как парит, ничего не успеем.

Две бутылки краски, кисти, совок, веник, лейку, садовые ножницы — все это мы достаем из сумки, и она еще далеко не пуста.

— Может, ты сначала покушаешь? У меня там курица, и рыбка, и пиво... Ну-ну, ладно, потом.

Мы начинаем работать. Мы ходим к колонке, набираем воду, мы спокойно и деловито протираем ограду и камень, как протирали бы мебель, мы подвязываем кусты, пропалываем грядку, подстригаем ветки чужого, соседского тополя, слегка загораживающие наш памятник. Здесь, у нас, на крохотном квадратике — ботанический сад. Несметное множество различных трав, цветов и кустов, кажется, что все это растет не из земли, а друг над другом, в два или три этажа.

— Ужасно, — говорит она ворчливо, — как у меня здесь запущено! Каждый раз пытаюсь привести в порядок, и все не выходит. Вот это,

мне сказали, красивые цветы, я вырвала анютины глазки, посадила их, а они так и не расцвели. А клубника немножко цвела, но ягод не будет, я уверена, потому что мешает вот этот куст, заслоняет солнце, и дождей же сколько времени не было, ну что я поливаю раз в неделю, разве это достаточно? Там у бабушки только одно дерево, зато подметешь — и чисто, аккуратненько, а здесь, у Мишуни, такой беспорядок, как ты считаешь?

Я никак не считаю, ничего не знаю, может, лучше, чтоб было густо, а может, чтоб чисто, кто поймет эту кладбищенскую эстетику?

— По-моему, — говорю я, — все хорошо. Только давай оборвем траву вдоль ограды, чтоб удобнее было красить.

Она с радостью хватается за эту траву — объективно нужное дело.

А потом мы с ней красим в две кисти, я снаружи, она внутри, и она работает быстрее и лучше. Работа нудная и кропотливая, мелкие чугунные завитки, попробуй, заполни их все без пропусков, чтобы пыльно-серое стало блестящим и черным. И халтурить — как-то душа не лежит, невозможно себе позволить. А солнце жарит, прожигает спину. Она сняла наконец свой плащ, осталась в синем сарафане и черной косынке.

— Ой, только бы не было дождя, пропадут все наши труды!

— Ничего, — говорю я, — это битум, сохнет моментально.

Я прохожу еще только три стороны, а она уже закончила и идет мне на помощь.

— Там, внутри, удобней, — оправдывается она, — не надо ходить, только поворачиваясь.

А потом мы сидим на соседней чужой скамейке, я сдираю крышку бутылки об острие чужой ограды, пью пиво, посасываю рыбку. А она все поглядывает туда, к нам, хозяйским, нетерпеливым взглядом и порывается встать, и снова садится.

— Все! — говорю я. — Дело сделано. Сегодня уже больше ничего нельзя. Вымажешься, да и краску сотрешь. Успокойся.

Она склоняет набок седую голову, виновато улыбается.

— Ничего получилось? А? Как ты считаешь?

— Хорошо, — говорю я. — Просто х о р о ш о!

И внутренне ежусь от этого слова, отнесенного все-таки, как ни крути, — к могиле...

— А верхушки серебряным — это уже потом, как-нибудь я сама...

— Ну что ты, что ты, — вру я великодушно, допивая пиво, — зачем сама, через недельку подъедем...

Она снова улыбается своей узкой, стесненной улыбкой, она благодарна мне за намерение.

Небо между тем с удивительной скоростью заполняется серой массой, и когда мы доходим с ней до ворот, уже падают первые великанские капли.

Настоящий дождь застает нас в автобусе. Все вышло очень удачно.

— Неудачно вышло, — говорит она, будто мне отвечая, — вся наша работа насмарку.

— Да нет,— говорю я,— ничего подобного, это битум, сохнет моментально...

— И к дедушке не успели, как нехорошо, я и в прошлый раз не была... Может, заедешь ко мне? — спрашивает она безо всякой надежды. — Я сварила такой чудесный борщ, а есть некому, все мои на даче...

Отчего-то я вдруг соглашаюсь.

И вот мы сидим у нее на кухне, я — с огромной тарелкой борща, а она — с каким-то диетическим блюдцем из творога, и она наливает мне водки в высокую тонкую рюмку. Я хотел бы сказать ей что-нибудь, что бы ей понравилось, но только не знаю, что же именно, и скажу чужие, пустые слова, и может быть, так и надо... На губах ее улыбка, а в глазах слезы, она уже заранее предвидит мой тост и как бы произносит его вместе со мной.

— Ну, чтоб все его помнили!

— Пей на здоровье, сыночку. Кто его помнит?

— Как так? Ты его помнишь. Разве этого мало?

— Ах, я... Сколько уже мне осталось... И разве ему от этого легче? Ему все равно...

— Нет! — говорю я как можно весомей и тверже. — Абсолютно не все равно!

— Да что ты, милый, ты что, серьезно?

— Совершенно серьезно! Смерть — это ведь только начало. И сейчас даже самые крупные ученые... И в Америке...

Она ласково смотрит на меня сквозь слезы.

— И ты в это веришь?

— Конечно! — говорю я. — Безусловно, а как же! — И на миг чувствую уютную радость, как если бы действительно верил... — И мы нашей памятью ему помогаем, облегчаем его страдания там...

— Да? Ты тоже его иногда вспоминаешь? — Она смотрит мне прямо в глаза. — Ну, какой он был?

— Он был пьяница, бабник и пустозвон, и немыслимый эгоист и бездельник, и очень меня любил, и я его тоже, и я навсегда перед ним виноват, потому что любил его меньше, чем он меня...

Она не вскрикивает, не хватается за сердце, не закрывает в ужасе глаз, потому что я этого не говорю, я говорю другое:

— Очень часто его вспоминаю. Он был хороший. Если ты не возражаешь, я выпью еще одну.

2.

Он был пьяница, бабник и пустозвон и единственный отчетливый человек в нашем приглушенном, невнятном клане.

По праздникам, когда вся любвеобильная родня, поочередно лизнув и обозвав друг друга: Мишуня, Гришуня, Женюся, Кларуна — рассказывалась для доброжелательной трапезы, он один оставался белой, а вернее, рыжей вороной, центром маленькой опасности, горячей точкой стола.

Рыжими, собственно, были только усы, небольшие, жестко-щетиновые, но и лицо его, даже чисто выбритое, всегда сохраняло оранжевый оттенок. Голову он тоже брил наголо, да и усы иногда с ним а л и то-гда, как он сам говорил, на двадцать лет молодец, но сразу же принимался их снова отращивать, поглядывая в зеркало по нескольку раз на дню. Без усов он становился как бы наг и беспомощен и заметно иначе говорил и даже ходил, но продолжал их снимать время от времени. То была доступная перемена жизни, неопасная и обратимая, и она приятно его щекотала. Вообще всякая внешняя сторона имела для него огромное значение, и слово «красивый» не сходило с языка. Красивый дом, красивая свадьба, красивая женщина, красивая лошадь... (Лошадь в этом ряду не случайна, в молодости он обожал лошадей, был любителем верховой езды и владельцем красивого экипажа). Пожалуй, он и сам был красивым мужчиной, и главным выражением его лица, имевшего много различных выражений, оставалось суровое мужское достоинство. Внутренне именно эта черта была скорее стремлением, нежели качеством, поэтому на всем его поведении лежал налет пародийности, иногда более, иногда менее явный, но никогда не исчезавший полностью. Он легко принимал атмосферу игры и с неизменной серьезностью относился к любой своей роли. А различных ролей он сыграл множество: местечкового богача-гуляки, бедного бродяги на заработках, безотказного подхалима-циновника, строгого начальника-бюрократа, бесправного пенсионера-сердечника; рыцаря и циника, вора и сыщика, отца и отчима; и, наконец, благочестивого и набожного еврея — и ясноглазого русака-черносотенца. Он везде играл, но нигде не притворялся, все эти склонности и характеры в нем как-то действительно уживались. Он не притворялся, он был слишком серьезен и поэтому никогда до конца серьезно не выглядел, а всегда вот с этим оттенком дурачества, который, по счастью, не все замечали. Это вовсе не значит, что он не шутил сознательно, наоборот, шутил почти постоянно, не остроумно, но громко и радостно, и тут же сам смеялся до слез, беззвучно хрипя, гогоча и повизгивая. Но и слушателем был благодарным, готовым, никогда не приглушал своей реакцией, зато часто настолько перебирал, например, раздражался таким неумным ржаньем, что рассказчик просто терялся и не знал, куда себя деть, не в силах поверить, что его острога, такая на вид неприметная, вызвала всю эту бурю.

Он всегда был центром маленькой опасности на наших тусклых семейных сборищах. На какой-нибудь дежурный вопрос о давлении, который задавала ему, допустим, жена племянника, он отвечал серьезно, четко и ясно, тщательно выговаривая каждое слово и лишь краснея от распивавшего его смеха: «А это в зависимости от того, кто меряет. Если молоденькая, и красивая, и есть за что подержаться, тогда не более чем сто шестьдесят. Честное-мое-слово! А в обычный период времени — двести на сто. Так что, если ты мне желаешь здоровья, садись поближе...» И, все аккуратно договорив до конца, тут же взрывался. Он смеялся один, остальные смущались — никогда они так и не устали смущаться, — отворачивались, заговаривали о другом, а он еще долго не мог успоко-

иться, гоготал и вытирал кулаком слезы. Тетя Женя, сидевшая где-нибудь рядом, если не хлопотала на кухне, привычно ворчала: «Мишуня... не стыдно...» — но он ее так же привычно не слышал. А потом, выпив подряд три-четыре рюмки — «стопки», как он всегда говорил, — вдруг подсаживался к какой-нибудь дальней родственнице, заботливо, по-родственному ее обнимал, «какая ты сегодня у нас красивенькая», и, глядишь, просовывал ей руку под мышку. «Да что ты, да нет, да ты не бойся, да я уже нигде не гожусь, честное-мое-слово!..»

Своему брату, всегда прибеднявшемуся, всегда вкрадчиво и бесшумно и втайне от самого себя совершавшему аккуратные свои коммерции, он мог сказать при общем внимании: «Ну что, Гришуня, как на работе? — И дальше, предупреждая дежурный ответ: — Тысяч сто у тебя уже есть? Или больше?» И тот спотыкался на первом же слове и сокрушенно качал головой, и все снова смущались и отворачивались и переводили разговор на другое, и тетя Женя ворчала, одергивая.

Иногда, если были посторонние гости, садились играть в «пятисот одно». Он очень волновался, то краснел, то бледнел, и мухлевал явно, почти демонстративно, и, уличенный, хохотал до стонов и слез, и, резко останавливаясь, переключаясь, вдруг обиженно говорил партнеру: «Все! Я с тобой не играю! Ты — Еврей. Ты Еврейский Еврей. А я с Евреями — не играю!» Причем произносил это слово отчетливо, с глубоким, безоговорочным «Е».

Он вообще говорил по-русски четко и ясно, с назойливой канцелярской правильностью, любил передразнивать картавую речь какой-нибудь провинциальной «яхны», и когда сам переходил на идиш, то это тоже выглядело как передразнивание. А когда однажды в году, на Пасху, он набрасывал талес, брал в руки тяжелую книгу и читал скороговоркой никому не понятный текст, то казалось, что это русский актер-неудачник в меру сил изображает еврея на молитве.

Дружил он обычно с милиционером или с каким-нибудь средней руки чиновником. То была осторожная, напряженная дружба, и он не обязательно в ней выгадывал. Просто ему импонировала близость к власти. Каждая встреча кончалась пьянкой, почти каждая пьянка — сердечным приступом, когда он тяжело стонал и ругался и цедил сквозь зубы: «Кончено. Все. Умираю...» Тетя Женя, непрерывно и ровно ворча, стаскивала с него сапоги, снимала сталинский защитный френч и непременные галифе, так что он оставался в белых кальсонах, и с моей помощью укладывала его в постель. Затем, все так же ворча, влиwała с ложечки капли. Ворчание было ее единственным правом в их многолетней семейной жизни.

Мне случалось бывать у него на службе, на некоторых из его многочисленных служб, всех этих ОРСов, УРСов, заготконтор и коопсоюзов. (Все названия учреждений, где он работал, были словно списаны со страниц «Крокодила».) Там он был всегда возбужден до крайности и так озабочен и деловит, как только могут прирожденные бездельники. Он считал на счетах, подписывал бумаги, перекладывал папки, листал ка-

лендарь, отвечал одновременно сидевшим напротив и в трубку, зажатую между плечом и ухом... Да при том еще френч, галифе, сапоги, бритая голова и короткие усики — типовой бюрократ из фильмов тридцатых годов. «Нет, нет и еще раз нет! Ка-те-горически воз-ражаю. Это не моя компетенция». С подчиненными он был сух, приветлив и вежлив, с начальством и женщинами — остроумен и прост, то есть шутил через правильные промежутки времени и ржал, гогоча, даваясь и повизгивая.

Он любил брать меня с собой на работу, после школы, а иногда и вместо школы. «Мой племянник, — говорил он секретарше. — Совершенно верно. Погибшего брата. Да, вылитый. А вы сегодня — просто на «ять»! Мне бы скинуть полтора десятка... Честное-мое-слово!.. Не горбись!» — И пропускал меня в дверь, вперед, и какое-то время, пока я стоял один в кабинете, он еще оставался в приемной, с лукавым удовольствием наблюдая за моей растерянностью. Впрочем, кабинеты с секретаршами бывали не часто, обычно же это была небольшая каморка, где вдвоем не уместиться, только столик и стул, и маленький сейф, и фанерная дверь с висющим замком — но всегда отдельное помещение, я не помню, чтобы он работал с кем-нибудь в общей комнате. Он запирает сейф, брал папку с бумагами, накидывал висячий замок, и мы отправлялись на территорию, на какой-нибудь склад готовой продукции, или в пошивочную мастерскую, или в подвал овощехранилища. И опять он меня пропускал вперед и командовал издали: «Направо. Я сказал, направо. Где у тебя право? Не горбись... Здравствуйте. Что хорошего скажете?» Он произносил отчетливо «здрав...», а не «здраст...», как будто читал по складам.

Он был бедным человеком — вот что странно. Он работал порой и на теплых, и на хлебных местах, но как-то ухитрился ничего не скопить, не потому, конечно, что был по-дубовому честен, а потому что боялся и не умел. Со всех многочисленных своих должностей, от начальника отдела до кладовщика, он уходил с выплатой недостающего, не того, что присвоил, а того, что прощляпил.

Объективный его портрет совпадает с любой его фотографией. Бритый череп; лицо прямоугольное, твердое, щеки слегка раздуты; глаза светлые, нос не длинный, но крупный; подбородок заострен и хоть и резко очерчен, но слишком мал, чтобы принадлежать человеку поступка. Жаль, не осталось цветной фотографии, хотя боюсь, что оранжевое свечение, так явственно вроде бы от него исходившее, становилось заметным лишь на фоне окружающей серости...

И вот на протяжении многих лет этот человек и никто другой был мне добрым отцом, и заботливым приятелем, и отважным защитником и избавителем.

3.

Вся моя память о наших с ним отношениях — это цепь подарков, сюрпризов и праздников. И первый и, может быть, главный из них — праздник избавления от театра.

В сорок третьем году в тыловом Челябинске, вскоре после известия о гибели отца (быть может, через год, но так уж мне чудится: вскоре...) главным предметом моей ненависти сделался театр оперетты. Я боялся его и ненавидел больше, чем немцев, которые были все же отвлеченным понятием, хотя и сделали что-то плохое отцу, которого я и вовсе не помнил; больше, чем группу в детском саду, где все же имелись какие-то игры и была одна сердобольная воспитательница, не заставлявшая доедать до конца ту бурду, что выплескивали в тарелки огромным половником из огромной и страшной кастрюли.

Два раза в неделю театр оперетты становился моей многочасовой тюрьмой, веселым и шумным пытчиком и издевателем. За мной в сад тогда заходила не мама, а тетя Вера, ее подруга, добрая, как теперь я думаю, женщина, но тогда страшившая меня безумно — вечной улыбкой и мягким и ровным голосом. Она брала меня за потную дрожащую руку и вела через дорогу, мимо яркого подъезда, и за угол, и в темный служебный вход, и какими-то крутыми лестницами, выше и выше, и в маленькую дверцу, ведущую не в комнату, а в огромное красное пустое пространство, обрывавшееся круто и далеко вниз из-под узкого и ненадежного барьерчика. Здесь стояло несколько кресел вплотную друг к другу, и на одном уже лежала подушечка, чтоб повысить, на него меня и сажали. Здесь я должен был жить один все то время, пока зал внизу заполнялся людьми, и потом, когда там грохотала музыка, и дальше, когда на сцене кривлялись и прыгали, и до самого конца, до которого я никогда не дотягивал, а мучительно просыпался, весь в слезах, от аккумулятивных маминих поцелуев.

Артисты театра были нашими знакомыми, мы с ними дружили. Одного я помню довольно отчетливо. На сцене он чаще всего гонялся за теткой с розовым зонтиком (одна из многих театральных нелепостей: зачем зонтик, дождя-то не было?..), она же бегала очень медленно, какими-то дурацкими мелкими шажками, и он, конечно, ее догонял, почему-то, правда, всегда у самого края сцены, и, догнав, не хватал ее и не салил, а ловко становился на одно колено, прямо в чистых голубых полосатых штанах (вообще одет он был идиотски), одну маленькую ручку прижимал к груди, а другой обводил вокруг себя и громко и противно орал:

Лишь! О! Те-е! Бе-э!
Мои мечты!
И в моем сердце
Царишь только ты.
Моей любви не отвергай!
И насладиться счастьем дай!

В жизни он тоже был очень странный, ходил с тонкой загнутой тросточкой и сначала не был нашим близким знакомым, а потом, когда мы с ним подружились, то я перестал его видеть на сцене, то есть, как

я теперь понимаю, перестал попадать на те вечера, когда он был занят на сцене...

Но в тот, последний мой вечер в театре я вижу только дядю Мишуню, все остальное уже не имеет значения. В этот раз на сцене было много народу, какие-то резкие, лимонные женщины и в двухцветных, сине-оранжевых штанах, как бы хромые мужчины. Вся эта масса переливалась справа налево, оставляя полсцены пустой, а затем, в такт грохочущей музыке, — обратно, слева направо. Эти волны колыхались у меня в глазах, уже застланных слезами тоски и усталости, как вдруг сзади хлопнула дверь и молча, багровощекий от напряжения, рядом со мной уселся Мишуня, мой любимый дядька, родной человек. Так он сидел какое-то время, как бы вовсе не глядя на меня, только чуть кося, и я тоже молчал, оцепенев от радости. А потом он прорвался, взорвался хохотом, и стал меня мять, целовать и тискать, и унес на руках из этого паскудно-го места, и больше я сюда никогда не возвращался.

Перемена в моей жизни произошла решающая. Те дни, когда за мной приходила не мама, раньше были моими казнями, а теперь стали моими праздниками. Он входил в раздевалку, громко и четко ступая, весь крупный, резкий, шумный, напряженный, «Здравствуйте!» — громко говорил воспитательнице, обнимал, целовал меня, укалывая усами и обдирая наждаком щеки, приказывал приглушенным носовым голосом: «Быстро одевайся!» — и при этом заговорщицки косил глазами, и опять разгибался к воспитательнице: «Пр-рошу пр-рошения! К вам у меня будет серьезный вопрос. Как — мальчик — ест?» И улавливал момент, когда она смущалась, и вставлял одну из своих пяти острот, багровея, и сдерживаясь, и прорываясь, и она хихикала и мягчала, и вообще становилась такой, какой никогда не бывала...

Мы ехали с ним на трамвае, не помню, долго ли, коротко ли, и квартиры, где они жили, тоже не помню, а только — тепло и спокойную радость. Тусклый мягкий свет, уютный керосиновый дым; тетя Женя, нежно дующая на блинчик перед тем, как сунуть его мне в рот; мучная затируха в фарфоровой миске, кислая капуста с подсолнечным маслом; и снова Мишуня — пропускающий стопку и торопливо и весело хрустящий луком. «Нет, что ты, Женюся, по единой — и стоп! Будешь меня просить — не стану».

Еда была, безусловно, центральным занятием, и в главном центре этого центра помещалась, конечно же, консервная банка волшебного лилово-синего цвета, овальная, с припаянным сбоку ключиком. Мне разрешалось осторожно повернуть этот ключик, наворачивая на него жестяную ленточку, до тех пор, пока хватало моих сил, дальше доворачивал дядя Мишуня. Сказочный, ни с чем не сравнимый запах выбивался из-под острого, опасного края: американский колбасный фарш... (Смешно, но именно эта гармония: запах, и вкус, и цвет этикетки, и форма банки — как казалась, так и оказалась потом высшей точкой наслаждения для всего моего поколения, той физической ощутимой вершиной счастья, до которой нам больше уже никогда не добраться...).

Иногда заходила Дина-Динуся, моя кузина, их взрослая дочь. Динуся жила отдельно, с мужем, а сюда приходила, чтобы есть блины, читать письма с фронта и плакать. Но прежде, чем начать есть и читать, она, еще не снимая пальто, хватала меня, кружила по комнате, смачно целовала в обе щеки и одаривала чем-нибудь, не столь замечательным, но также достаточно интересным: куском развесного горького шоколада или горстью цветных шершавых «подушечек». О муже ее говорили «бронь», «инженер», и «побольше бы таких голев», но при мне он пришел всего однажды. Был он крупный, скуластый, чужой, в очках и, обращаясь ко мне, говорил: «крестьянин». «Ну как, крестьянин, ну что ж ты, крестьянин, эх ты, а еще крестьянин!..» Динуся в тот раз писем не читала, хотя блинчики ела. Тетя Женя хлопотала вокруг, не присаживаясь, а дядя Мишуня пил по единой с Динусиным мужем, багровел и хихикал, нервно стучал по столу пальцами, выстреливая ими из жатого кулака, или вдруг распластывал ладонь на столе в напряженном покое — и вел чужой, не семейный разговор. «По части качества — не компетентен, но по части стоимости — не могу согласиться...» И таким же я его видел потом, в Москве, когда он пил с милиционерами.

По утрам, пока мы собирались и завтракали, тетя Женя что-то быстро ворчала по-еврейски, он отвечал ей коротко и брезгливо — всегда разговаривал по-еврейски с легкой брезгливостью — и заключал: «Говорю тебе, смешной ты человек, я не против, только нервируем мальчика. Но она на это никогда не пойдет, и будет большая обида...»

И сначала вернулась в Москву тетя Женя, с Динусей и Динусиным мужем, а она осталась. Я не помню прощанья, быть может, его и не было, но однажды вечером мы приехали с ним, как обычно, вошли в их комнату — а там никого. Он возился с керосинкой, обжигал руки, матерился, то и дело подходил к буфету, наливал себе стопку, хрустел луком. Предлагал и мне — луку и хлеба: «Закуси, почувствуешь себя мужиком...»

А еще через несколько дней уехал и он. Не прощаясь, уж это я точно помню. Не пришел за мной, вот и все. Оказалось — уехал.

Не стало в городе дяди Мишуни, и жизни не стало. Провал, серая пустота, детский сад, тусклые вечера дома. Какие-то неудобные, ненадежные гости, разговоры и смех как будто сквозь сон. Низкорослый летчик дядя Костя, сперва поразивший мое воображение тем, что летчик, но вскоре разочаровавший полностью, так что я и верить перестал, что летчик, и решил, что пропеллеры у него на погонах — просто так, как у некоторых мальчишек: нашел, прицепил... Потому что оказался он однообразен и глуп. «Дядя Костя, — спрашивал я, — а самолет, он какой?» — «Смотря какой самолет», — отвечал дядя Костя. «Ну, а пушка, — спрашивал я, — а она какая?» «Смотря какая пушка», — отвечал дядя Костя...

Так тянулись месяцы... И вдруг... С ним все было вдруг.

Страшный, заросший длинной щетиной, так что усы и не выделялись, с воспаленными, красными глазами... Вошел в комнату, на мгнове-

ние молча застыл у двери, потом схватил меня, поднял на руки и крепко-крепко прижал к себе.

— Ну вот,— бормотал он сквозь смех и слезы,— ну вот, ну вот, чудной ты парень! А ты боялся... А ты боялся... А ты боялся...

Потом отпустил меня, обнял маму.

— Выпить нет у тебя? Ну, давай чаю. Съем быка. А может, найдешь? Ну зайди к соседям.

И уже за стопкой, все-таки как-то нашедшейся, прожевав, проглотив (никогда не разговаривал с наполненным ртом):

— Не поверишь, еду уже неделю. Прямого билета не было, взял до Самары. А там — тысяча и одна ночь. Битых трое суток сидел на вокзале. Еще великое счастье — один, без вещей. Люди падали, теряли сознание. Не поесть, не помыться. В уборную очередь. В кассу, к начальнику — смертоубийство. Не знаю, как у меня сердце выдержало. Ну, это уже все позади. Готовь мальчика, время не ждет. Не позднее, чем завтра, мы отбываем.

Мама слушала, курила, качала головой:

— Неужели специально за ним приехал?

— А то как же? Ну, еще — на тебя поглядеть. Ты такая у нас красивая — все отдать и мало...

Он привез мне удивительный, чудесный гостинец — настоящее печенье фабричной выпечки, в аккуратной целлофановой упаковке. Я долго этим печеньем играл, складывал в домики и колодцы, все никак не решался сломать, откусить. Было оно похоже на то, каким в сказке Пушкина угощалась сварливая старуха, когда стала царицей. Там, правда, сказано было «пряник», но нарисовано уж точно вот это печенье. До сих пор, когда слышу или читаю: «заедает она пряником печатным» — вспоминаю тот самый дядькин подарок: бледно-розовый целлофан, разрывавшийся мягко, почти съедобно, и под ним — две колонки почти несъедобных квадратных, с выпуклым, шершавым и хрупким узором...

4.

В то время носильщики были носильщиками, а не возильщиками, как теперь. Никаких тележек, только руки и плечи. Носильщик связывал широким ремнем, снятым прямо тут же с пояса, два тюка или чемодана, вешал их себе на плечо, еще два предмета прихватывал в руки — это был предел его грузоподъемности. Наш носильщик, седой, сутулый мужик в армейской фуражке, был как раз на таком пределе. Он уже достиг середины толпы, половины пути до двери вагона, когда его сбили с ног и стали затаптывать. Дядя Мишуня ждал его в тамбуре, выглядывал из-за чужих плеч и голов, мы с мамой стояли в стороне на платформе. Носильщик нам не был виден, только Мишуня — его огромный, раскрытый в крике рот и перекошенное, как бы сморщившееся лицо. Рев толпы никак не обозначил падения носильщика, оставался таким же ровным, с редкими всплесками, и Мишунин крик был беззвучен на этом фоне. Но зато мамин истошный вопль был услышан не только

мною. Подбежала молоденькая милиционерша, спросила, поднесла ко рту свисток, подошла вторая, постарше, спросила, тоже поднесла ко рту свисток. И еще подбежали два или три носильщика, и все они бросились на толпу, свистя, вопя, колошматя кулаками куда попало... Наш носильщик лежал ничком, подвернув руки, наши ободранные чемоданы обжимали ремнем его плечо, один чемодан был у него над грудью, другой свешивался со спины. Один из узлов, неузнаваемо грязный, изодранный и истоптанный, валялся поодаль, второго узла вообще не было.

Носильщика унесли на носилках, чемодан и узел дядя Мишуня поочередно втащил в вагон, и сразу же толпа с отчаянным ревом бросилась вновь заполнять законное свое пространство.

Мама металась со мной по платформе, и как бы в ответ в окнах вагона метался бритоголовый мой дядька. Наконец, чьи-то большие руки цепко и грубо схватили меня и подняли. Я заорал, но в следующий момент уже упирался животом и руками в остроугольную деревянную раму, а в следующий — сидел на верхней полке на вдвое сложенном Мишунином черном пальто. Он обнял меня, прижал к себе, деранул плохо выбритой жесткой щекой, обдал знакомым запахом водки и лука, отодвинулся, вынул чистый платок, и хотя он был сам в поту и слезах, стал вытирать не себя, а меня: глаза, щеки, шею, нос...

— Не нервничай, — сказал он, кусая губы. — Ты, главное, только не нервничай. Держись, казак, атаманом будешь. Понял меня? Ну то-то...

На этой полке, на этом пальто я и валялся четверо суток, и четверо суток внизу подо мной, тесно зажатый соседями, сидел и кемарил дядя Мишуня. Ночью я падал ему на голову, днем канючил и рвался к маме, и то непрерывно просил еды, то блевал в подставленное им полотенце, от всего отказывался и лежал неподвижно лицом к стене. Он уже тогда был больным человеком, оттого его и не взяли на фронт. (Разумеется, он туда никогда и не рвался.) «Грудная жаба» — два этих загадочных слова как бы вечно витали вокруг него, были как бы приставкой к его имени и присказкой к разговору о нем. И если бы он умер в конце концов от сердечного приступа, я бы мог считать, что внес посильную лепту, что и этот груз — на моей совести, пусть хоть и совсем небольшой своей частью (кто знает, какой?..). Но умер он от другого.

5.

Москва для меня оказалась поселком, пригородом, почти деревней, с заборами, огородами, собаками на цепи и даже коровами. По этой, нашей Москве ходили пешком или ездили на санях и телегах. Там всегда стучали молотки-топоры и зудели, и визжали пилы.

Молоток, топор, пила — и дядя Мишуня... Это единство всегда со мной, всю мою жизнь, и всегда так будет, да сколько уж там осталось... Плотницкий инструмент в моей руке — это значит, что и он где-то тут, непременно рядом. Так уж мне суждено, что работа с деревом для меня всегда — спиритический сеанс, и не было случая — поверьте, ни одного! — когда бы простой молоток, обхват его рукоятки, не вызвал из не-

бытия этот голос, скрипучий, насмешливый, назидательный. Этот голос звучал надо мной постоянно, он командовал, он направлял, поучал, он журил, одергивал и ставил на вид — и он никогда, ни в какой момент не бывал мне в тягость. Это странно, в это просто невозможно поверить, в чем тут дело? — спрашиваю я себя, и не знаю, не нахожу ответа. Все его фельдфебельские уроки жизни вспоминаю я не только без всякой досады, я вспоминаю их с наслаждением. И совсем не потому, что, повзрослевший и умный, я теперь понимаю пользу и смысл муштры. Я и теперь не понимаю ни смысла, ни пользы, но ег о муштру, ег о наставления я и тогда принимал с радостью.

— УБери голову. Дальше руку. Ближе к концу. Гляди на шляпку. — Новый гвоздь любой толщины и длины он вбивал в доску за три-четыре удара. Старый — неровный, кое-как подправленный, лез напропалу под его молотком, будто кто-то вытягивал его изнутри.

— Легче, легче! БЕЗ усилий! НЕ напрягайся! Не ты пилишь — пила пилит... — Казалось, и впрямь, отдерни он руку, и пила будет продолжать пилить, так же весело и легко, по шучьему велению.

И вот, при таком мастерстве и такой виртуозной легкости, он ни разу ничего сложнее забора не выстроил, да и забора не выстроил целиком, разве только кусок: перекладину, несколько досточек... Было бы проще всего сказать, что он не умел ничего заканчивать, но это бы не вполне отвечало истине. Как раз завершить, подправить, докончить — это он мог и даже любил. Не любил же он с е р е д н ы работы, то есть главного, полного ее разворота, где надо было учитывать все элементы, совершать однообразные повторные действия и главное, держать в уме результат. И поэтому все, что действительно делалось: сарай, сортир, покрытие крыши, пристройка террасы — было сделано не его руками, а руками нанятых мастеров, которым он всегда хорошо помогал, но только вначале или в конце.

Он умел и любил играть в работу, работать он не любил, не умел. Плотник Саня, флегматичный, степенный мужик того же возраста, что и дядя Мишуня, часто выполнявший наши заказы, все никак не мог привыкнуть к его манере.

— Ты Еврей! — вдруг говорил ему дядька, неожиданно появляясь рядом. Саня цепенел и смотрел на него ошалело. — Ты Еврейский Еврей, сразу видно по работе. Разве русские так работают, мать честная! Давай покажи. Разметил? Здесь? Ну, гляди...

И в несколько легких, веселых движений отпиливал, как ножом срезал, аккуратный, ровный кусок доски.

— Гвозди, Еврей, забивать умеешь? — спрашивал дядя Мишуня и всхлипывал: он уже был на грани взрыва.

Он хватал гвоздь, приставлял, наживлял, влеплял его тремя лихими ударами — и сразу, освободившись, прорывался визгливым и лающим хохотом. Дядька забивал еще один гвоздь, хлопал Саню по плечу и говорил, повизгивая от остатков внутреннего, укрощенного смеха:

— Красиво? Ну то-то. Ничего, нэ журысь. Москва тоже не сразу строилась. Давай веселее!

И уходил на другой конец двора — копать ямку под какой-нибудь столбик, который будет вкапывать тот же Саня, разумеется, сперва доведя ее до нужных размеров...

Все свободное время он ходил по двору в сопровождении пушистой, пятнистой Джульбы, которую чудом во время войны сохранила нам добрая соседка-молочница, ходил и неумолимо играл в хозяйство: что-то отрывал, что-то приколачивал, выкапывал, вкапывал, переносил. Монотонные, однообразные движения приводили его в неистовство, вызвали неизбежный сердечный приступ. К примеру, та же пила, любимый его инструмент. Он прекрасно знал все приемы разводки и точки, но ни разу не развел и не наточил. Вот он брал в руки двуручную пилу, которой мы обычно пилили дрова, осматривал зубья, качал головой:

— Трясця вашей матери! Никуда не годится. Надо точить. Надо точить. Надо точить.

И аккуратно откладывал ее в сторону, как бы для точки. Назавтра мы пилили с ним той же пилой, он ругался, осматривал и снова откладывал. Так повторялось по многу раз. Наконец, он решился, надевал очки, отыскивал треугольный напильник, громко топая, заносил пилу в комнату («в горницу», как он говорил), шумно и подробно снимал со стола клеенку.

— Боже мой, что ты уже придумал? — ужасалась тетя Женя. — Это что, обязательно делать в доме, в сарае нельзя, тебе мало места?

— Не нервничай, Женюся, я тебе все объясню. Нужен! Ровный! Стол!

— Так что, верстак уже не годится? Тебе же Саня специально сделал верстак, ты заплатил ему кучу денег!...

— Па-вторяю. Нужен-ровный-стол! *А глэйхер тыш.* Ясно? Или не ясно?

Она качала головой, вытирала слезы и уходила на кухню.

Он очень серьезно и обстоятельно прилаживал пилу к краю стола, заставлял меня держать то с одной, то с другой стороны, затем, наконец, проводил напильником по первому, по второму зубу, останавливался, окидывал взглядом весь бесконечный их ряд, хватался за сердце и топал к буфету: принимать рюмку каплей Зеленина и стопку лимонной водки.

Затем — не сразу, не в этот день, а попозже, дня через два, через три — я относил пилу в мастерскую Сане, а наточенную Саня уже сам приносил обратно. Дядя Мишуня ее строго осматривал, чуть не каждый зуб пробовал пальцем, впечатление было, что он недоволен и сейчас непременно вернет обратно. Но это он просто играл в инспекцию, тут же хлопал Саню по плечу, жал ему руку, говорил:

— Цены тебе нет. Орел! На-ять, честное-мое-слово.

И тащил его в горницу — отметить событие...

Пилка дров была едва ли не единственной работой, которую он не любил, но делал. Мы с ним долго к этому морально готовились и решались лишь при крайней необходимости, когда дров оставалось на сутки-двое, и тетя Женя уже, ворча, надевала ватник. Он обнимал ее, целовал, снимал с нее ватник, надевал его сам и показывал мне головой

и руками, что, мол, все, надо, ничего не поделаешь. Мы долго ставили козлы, правее, левее, долго выбирали первое бревно, тщательно сбивали снег, укладывали. Первый надпил он делал один, без моей помощи, направляя пилу отогнутым пальцем левой руки.

— Давай! — говорил он строго. — Не дергай. Не спеши. Не толкай. Не жми. Тяни. Запомни: пила пилит сама!..

Пила пилила сама, но рука уставала и, кончая очередное бревно, страшно было подумать, что сейчас же, немедленно придется все начинать сначала. Он чувствовал мою усталость, да и сам уставал, а верней, ему просто надоедало, и он устраивал деловой перерыв, переходя от скучного дела — к веселому, к одной из своих любимых хозяйственных игр.

— Стоп! — говорил он. — Сейчас ты мне будешь нужен. Повернись к забору. Стоп. Иди. Вперед. Еще. Стоп. Сможешь влезть? Смо-ожешь! Давай подсажу. Ногу ставь на перекладину. Теперь вторую. Держишься? Крепко? Смотри, отпускаю. Теперь рассказывай, что ты видишь.

За глухим высоким забором был ЖКО — жилищно-коммунальный отдел, как теперь я думаю. Стоя на перекладине, я видел закрытый двор, обитый железом сарай с огромным замком, несколько пар саней, кучи бревен и досок и еще множество разных предметов, засыпанных снегом.

— Доска, — строго приказывал он, — погляди, какая доска.

— Да тут не одна, тут разные доски, большие, маленькие...

— Чудной ты человек. Вот я и спрашиваю: какая доска?

— Ну, разная... доска. Я тебе же сказал.

— Горбыль или тес?

— Не знаю, не видно отсюда.

— Прыгай.

— Что?!

— Пав-торяю. Прыгай. Не нервничай, не ударишься. Под мою ответственность.

Я, конечно, не прыгал, а слезал понемногу, цеплялся руками, упирался коленями и сползал в глубокий снег на той стороне. Меня сразу же охватывало странное, неуютное, тревожное, но и сладкое чувство чужой территории. Даже небо, казалось, здесь было иным — холоднее, темнее, и от каждой точки пространства, от любого предмета исходила неведомая мне опасность. Джульба как бы чувствовала мое состояние и начинала подвывать и легонько потягивать.

— Молчи, дуреха! — сипел ей дядя Мишуня.

Я выбирал доски поменьше, полегче, отдирал их, смерзшиеся, друг от друга и волок по одной к забору, из-за которого он командовал едким шепотом:

— Поднимай! Вер-тикально. Одним концом. Что значит вертикально? Так. Поднимай...

Иногда я думаю... Явно несправедливая, но навязчивая и как бы правдоподобная мысль... Он был так ко мне поминутно привязан... Не оттого ли в частности, что я оставался единственным безотказным его

подчиненным? Он ведь был чиновником по природной склонности, даже целым учреждением в миниатюре, и порой мне странно, что он так и не сросся со всеобщей конторской машиной, не добрался даже до средних рангов и пенсий, а при каждой попытке вылетал в сторону, и так в конце концов в стороне и остался. Видимо, он и в чиновники играл, как в солдатики, а вокруг-то все были совсем иные, взаправдашные и страшно серьезные люди...

Он был хорош с этими своими командами: в галифе, в коротких обрезанных валенках — «чоботах», в телогрейке с широким армейским ремнем и в каракулевом треухе с кожаным верхом. То и дело он снимал одну рукавицу, высмаркивался в снег, вытирал ладонью усы. В кармане у него, я знал, всегда был чистый носовой платок, но он берег его для других случаев, для представительства и выхода в свет...

Выход в свет мог быть выходом на работу, или поездкой в командировку, или посещением поликлиники.

В поликлинику мы ходили довольно часто, то я с ним, то он со мной. Детская и взрослая располагались вместе, в одноэтажном доме барачного типа, в небольшом палисадничке, как бы скверике, с деревянными скамьями, гипсовыми пионерами и черным крашеным взрослым Лениным в детский рост.

Там внутри он сразу весь напрягался, и дежурный комплимент пожилой регистраторше: «А вы все молодеете, хорошеете...» — выжимал из себя, как урок, с заметным усилием. Он здоровался с очередью, садился жестко и прямо, покашливал, сжимал и разжимал кулаки, выстреливая напряженными пальцами, и со мной разговаривал гнусавым шепотом, опасливо косясь куда-то в сторону, на одной назойливой интонации.

— Не горбись. Платок. Возьми платок. Повернись налево. Где у тебя лево. Сядь на стул. Встань. Подойди. Почитай, что написано, потом расскажешь.

Я брал платок, поворачивался, садился, вставал, шел читать, что написано. Написано было — и нарисовано — на цветных стеклянных диапозитивах, вставленных в деревянную этажерку, вращающуюся, с лампой внутри. Включаешь свет, смотришь рисунки, прочитываешь, что написано, сверху вниз, поворачиваешь и читаешь дальше. Такие штуки и сейчас еще висят кое-где в поликлиниках, их идея оказалась столь же устойчивой, как форма градусников или цвет больничных листов.

Жили-были Мик и Мак,
Славные братишки.
Кто такие Мик и Мак?
— Плюшевые мишки.

Два плюшевых медвежонка, один хороший, послушный и потому здоровый и бодрый, другой — капризный, непослушный — больной.

Мак не слушался врача —
Вот и тает, как свеча!

Я расстраивался и переходил к другой этажерке, где было показано, как надо мыть фрукты, чтобы остаться в живых после того, как их съешь. Красные яблоки, желтые груши, клубника, вишня и еще ви-но-град — тоже яблоды вроде вишни, но только кучкой, помногу вместе и синеватые, продолговатые, со сладким соком внутри под названием «вино»... Странно, все светящиеся эти картинки вызывали не аппетит, а скорей тошноту и какое-то унылое, болезненное чувство. Оттого ли, что была вокруг поликлиника, запах йода и камфоры, топот сестринских ног, или, может, само стеклянное это свечение, исходившее от самых различных предметов, которые по природе своей не должны бы светиться?.. Я этого так до конца и не понял, а пытался понять не раз, потому что и всегда потом, и сейчас с тем же болезненным тошнотавым привкусом воспринимаю любой освещенный изнутри диафильм, не имеет значения, на какую тему и где он висит: на промышленной выставке, в медицинском НИИ, в овощном магазине... И такое же болезненное, саднящее чувство вызывает у меня иногда цветной телевизор.

— Встань, пойди подыши свежим воздухом.

Я шел на улицу, дышал, проходил по скверу. Ленина осторожно обходил стороной — он пугал меня глянцевой своей чернотой, а еще больше своими размерами, напоминая злого карлика из арабских сказок. (Спешу оговориться, что дело не в Ленине, а в свойстве самой скульптуры. Через несколько лет в пионерском лагере я наткнулся на точно такого же Пушкина, тоже черного и ростом с семилетнего мальчика — и точно так же его испугался, хотя, конечно, сегодня мне ясно, что черный Пушкин — это все же нечто более естественное и менее страшное.) Возвращался я в коридор-ожидально усталый, раздраженный, с одним желанием — поскорее домой. Дядя Мишуня уже был в кабинете и даже уже стоял у двери, готовясь выйти: было слышно, как он время от времени угодливо хохотал-грохотал в ответ на неслышные врачихины шутки-напутствия. Затем вдруг резко распахивалась дверь — вся очередь дожидалась этого момента, но он оказывался всегда неожиданным — и дядька мой вылетал ко мне, гогоча по инерции, стремительно, в полувоенном френче, в галифе и вычищенных сапогах, вытирая потное, красное лицо чистым носовым платком и бережно неся двумя пальцами свеженький голубой бюллетень...

6.

Нижние доски, не такие смерзшиеся, поддавались гораздо легче, и фонарь на столбе, похожий на репродуктор, не пугал уже скрипом и движеньем теней, я привыкал, входил в азарт — и тут он как раз говорил:

— Молодец. Довольно!

Я возмущался:

— Ты что! Ну вот эти две? Увидишь, какие хорошие, длинные...

— Я сказал: довольно. Положи обратно. Ровней, ровней...

Я был ему невидим из-за забора, но он как бы чувствовал каждое мое движение.

— Ровней, как было. Присыпь снегом. Немного, до утра еще будет сыпать, занесет как положено. Готово? Теперь осмотришь, поищи ящик. Там должен быть ящик, рядом с тобой.

— Чего, зачем?

— Не понял? Я сказал: поищи ящик. Не крути головой во все стороны. Сначала погляди направо. Внимательно. Потом налево...

Я действительно находил ящик, приставлял к забору, а уже его убеленный снегом торец покачивался над тупыми скосами досок, и еще несколько несложных команд и нетрудных усилий — и вот уже крепкие надежные руки опускают меня на родную землю...

Новых, мои досок нигде не было видно, я растерянно озирался вокруг, а он хохотал, довольный:

— А-а! Не можешь найти? Ну вот то-то! И никто не найдет! И никто не найдет! И никто не найдет. Ну, еще попробуй, посмотрим, какой ты сыщик. А? Что? Что — как, как! Ловкость рук и никакого мошенства. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ищи! Ищи!..

И снимал рукавицу и вытирал счастливые слезы.

Разгадку он оставлял для меня на завтра, когда оказывалось, что только что добытые доски аккуратно сложены под старыми, нашими — тоже украденными в свое время, но настолько давно, что как бы уже не представляли опасности...

Мы возвращались к козлам воодушевленные, пилили весело и легко, и я без конца обсуждал операцию, а он, тоже довольный успехом, а еще больше моим удовольствием, сохранял то, что должно было быть солидностью, и только время от времени гмыкал и, сдерживая себя, влажно поддакивал:

— Д-да!.. Д-да!.. Н-ну?.. Д-да!..

В следующий перерыв он колол, а я отдыхал. Он колол лихо, с уханьем, с кряканьем, и мне очень нравилось это зрелище, и ему было важно, чтобы мне нравилось. Он всегда старался расколоть полено с одного удара, а если не выходило, то непременно оправдывался:

— Сучковатое. Видишь? Вот и вот. А это, брат, уже нешутейное дело, тут просто так, по-дурацки не выйдет, тут надо с умом. Надо с умом. Поищи-ка клин!

Я искал клин, он вбивал, раскалывал и с важностью показывал мне разруб сучков, и опять радовался... Опять радовался.

Потом мы относили дрова к поленнице, и он набирал на левую руку огромную кучу, и просил меня подложить еще, и правой успевал подхватить соскользнувшие, и казалось, теперь не донесет ни за что, но он доносил и сразу начинал укладывать, на меня не глядя, лишь спиной воспринимая мое восхищение...

— Все! — говорил он. — Все! Баста! По сто пятьдесят мы сегодня с тобой заработали.

И уже открыв дверь на веранду, через которую мы проходили в дом, вдруг останавливался и взглядывал мне в глаза.

— Устал?

— Н-нет.

— Замерз?

— Да нет...

— Говори честно. Точно нет? Тогда у меня будет к тебе серьезное дело. Ненадолго, не бойся. Четыре минуты — и с плеч долой. Подожди меня здесь.

Тяжелая дверь, отделявшая дом от веранды, обитая синей протертой клеенкой с трещинами и клочьями серой ваты, закрывалась за ним, как казалось, плотно и глухо, но уже через минуту широко распахивалась, и большая раскрытая бочка с кислой капустой выезжала вперед и вздыбливалась над невысоким порогом. Он был уже без шапки и телогрейки, в одном своем старом рабочем френче, склонялся над бочкой, окутанный белым, желтеющим паром, и зыбкий свет отражался в его влажной оранжевой лысине. Из глубины, из заоблачного пространства, доносилось ворчание тети Жени: «Напустишь холода... Мишуня... Какой ты!..» И он, поудобней пристраивая руки, отвечал:

— Ничего, Женюся, не нервничай. Это быстро, это один момент, сейчас, мальчик мне тут поможет...

И мне, вперед, не глядя, другим голосом:

— Не подходи! Когда будешь нужен, я скажу. Стой, жди приказаний!

Крякнув, он переваливал бочку через порог и с разбегу, наклонив, прокатывал дальше, до крышки погреба, успевая крикнуть по дороге:

— Дверь!

Я кидался к двери.

Пол веранды глухо гудел, тяжело прогибался, и на нем оставался гладкий, красивый и стойкий след.

Отдыхавшись, он откидывал крышку погреба, закатывал бочку дальше за край, так что днище свешивалось едва не наполовину, осторожно спускался вниз по перекладинам лестницы и оттуда, снизу, говорил мне:

— Теперь давай. Теперь все от тебя зависит. Главное — ничего не делай лишнего. Ты понял меня? Только то, что надо!

Все было на самом-то деле предельно просто. Я должен был всего лишь придерживать верхний край, в то время, как он, уперевшись снизу плечом, сталкивал бочку с пола на перекладину. Затем с первой на вторую, потом на третью и так до самого дна погреба. Все было просто, но в любой момент бочка могла на него свалиться, целиком, всем своим немыслимым весом. Это было настолько возможно, настолько близко, что каждый раз как бы уже и случалось, и тот свой страх я не только что помню, я отчетливо ощущаю его и сейчас. Но дело не только в страхе, тут что-то еще...

Вот он подлезает плечом под круглый, твердый и режущий ниж-

ний край, челюсти его сжимаются, лицо искажается, он процеживает сквозь зубы, как бы протанывает:

— Придерживай!

И время для меня останавливается.

Я не знаю, как объяснить, но именно этот момент каждый раз застывает стоп-кадром в моей памяти. Я цепенею над краем бочки, над квадратным провалом, внутренность которого слабо освещается эконо-
ной лампочкой, висящей чуть в стороне, ближе к центру веранды; а внутри, с другой стороны бочки, в мягком рембрандтовском полумраке неподвижно светится красноватая лысина и лицо моего дорогого дядьки, навсегда искаженное взглядом сверху и гримасой усилия. И странно, я ведь знаю, что здесь, сейчас ничего не случится. А все-таки именно эта картина — не те, еще его поджидавшие, действительно страшные, а именно эта, по неведомой мне причине — теснит мое сердце острой тоской и щемящей жалостью...

7.

Я долго думал, что его отношения с женщинами — это что-то вроде строительных его прожектов. Что и здесь дальше глупой детской игры, дальше подкалываний и заходов дело не движется. Это был внешний стиль его жизни, и его разговоры, к примеру, с Дорой Семеновной я никак не отделял от его разговоров с Саней. Те же пять всегда готовых острот, те же десять присказок, ну разве что еще в довесок два компли-
мента, да какое-нибудь двусмысленное движение рукой, не жест, а только его начало, опасливое с оглядкой на тетю Женю...

Дора Семеновна была нашей новой соседкой... Здесь «новой» — не очень точное слово, точнее бы было просто — «соседкой», но так, чтобы «новой» в нем как-то внутри содержалось. Потому что прежде, до Доры Семеновны, никаких соседей никогда у нас не было. Но Дина-Динуся жила отдельно со своим крестьянином, детская комната ее пустовала, и решили по бедности ее продать каким-нибудь порядочным хорошим евреям. Так у нас появились Дора Семеновна, ее дочка Фаина и кошка Кисачек.

Очень похожие друг на друга, тяжелоногие, крупнозадые, с кра-
шенными хной короткими волосами, с темноватой, не очень чистой кожей, с настороженным, стервозным выражением лиц, какое часто бывает у одиноких женщин, мать и дочь заполнили собой до отказа не только комнату Динуси, что было естественно, но и все «помещения общего пользования», как выражался дядя Мишуня. Они прибыли из какой-то украинской дыры, сумели пробиться в Москву и теперь утверждали в ней свое присутствие. Они в принципе не умели разговари-
вать тихо — и очень слабо, едва-едва, умели разговаривать мирно.

— Не могу понять этих людей! — орала с утра на кухне Дора Семеновна. — Если хочешь взять мою мясорубку — пожалуйста, попроси и бери, мне еще никто не сказал, что я жадная, я еще ни одному человеку не пожалела такого добра. Но зачем брать без спроса, тайком — вот что

мне непонятно, вот загадка всей моей жизни, люди добрые, помогите мне ее разгадать! И уж если ты такая, что берешь без спроса, так хоть вымой чисто. Ну, ты не привыкла жить в чистоте, что же делать, так другие привыкли. Да. И им неприятно. Не хочется закрывать шкафчик на ключ, что такое, как с чужими, как *мыт ди гоим*, но вот придется. Вот придется...

Мы сидели в своей комнате, как в осаде.

— *Ди ерт?* Ты слышишь? — говорила тетя Женя. — И что мне делать с этой сумасшедшей?

— *А койлерте!* — говорил он. — Убийца! Женюся, не нервничай. Вот ты увидишь, я ее выселю. Как пить дать. Выселю и посажу, она еще у меня поплачет. Я уже говорил на эту тему с Локтевым, все откровенно ему рассказал, он был сам не свой. Сказал, что поможет. Надо будет завтра его пригласить.

— Твой Локтев! — вскидывалась тетя Женя. — Толку от него, как от козла молока. Только корми его и пои. Напьется и все забудет.

— Не нервничай, мы с ним по сто пятьдесят, не больше, честное-мое-слово. У него гипертония почище моей, вчера при мне вызывали скорую прямо на службу...

В это время там, на кухне, происходила перемена. Из комнаты выходила умываться Фаина, и Дора Семеновна, на минуту умолкнувшая, обретала возможность начать сначала.

— Нет, ты подумай, людям трудно спросить!..

— А нечего строить из себя цацу, — подхватывала дочка с готовностью. — Как они к тебе, так и ты к ним. Если бы они к тебе по-хорошему...

— *Балэбустым!* — жаловалась Дора Семеновна. — Хозяева! А я — ни-что, я говно и меня можно топтать, сколько хочешь. Конечно, если бы в доме у меня был мужчина...

— Ты такая же хозяйка, как и они, и нечего цацкаться. Запереть на замок, заявить в милицию, вызвать инспекцию, написать в газету...

Тетя Женя не выдерживала, выбегала на кухню.

— Как же вам не стыдно, Дора Семеновна, — выкрикивала она сквозь слезы. — С чего это вы взяли, что я брала мясорубку? Ну зачем она мне сдалась, у меня есть своя, вы же знаете, что у меня есть своя, зачем вы придумываете, вы же это все специально придумываете, я боюсь притронуться к вашему шкафчику, пусть бы там лежал миллион золота, я мою пол, так даже тряпкой его не касаюсь, как же вам не стыдно, взрослая женщина...

— Это м н е должно быть стыдно?! Мне? — радостно разворачивалась Дора Семеновна. — Нет, Фаиночка, не уходи, я прошу тебя, послушай, какие бывают люди. Я тебе рассказываю, ты не веришь, так вот убедись своими ушами. Ты слышишь? М н е должно быть стыдно. Ну? Ха, ха, ха, ха! Просто не знаю, смеяться или плакать. Я вчера утром провернула котлеты, помыла, ты знаешь, я мою чисто, не так, как другие, другие моют в одной воде, и им достаточно, больше не надо, а я мою в трех водах, чтоб ни пятнышка, так я мою. Чисто помыла и поставила

к стеночке, вот так, и ушла в вечернюю смену. А сегодня смотрю: что такое? — она стоит вот так. Ну? Как ты думаешь, кто ее так поставил? Господь Бог ее так поставил? Пушкин ее поставил? Кисачек ее поставил? Раскручиваю — так и есть! Жир. Понюхай. Свинина? Свинина! А ка-ак же! А я со свиной в жизни не делаю! Я могу добавить куриное филе, немножко сырой картошки — но не свинину. Нет, я не такая благочестивая, не хочу придумывать, просто я не ем свинину и все. Мое дело! Так кому должно быть стыдно, а? Конечно, конечно, у нее есть своя мясорубка. Врагам моим. Не мясорубка — одно мученье, она мне сама говорила вот на этом месте. А моя — так это одно удовольствие, и конечно, люди не дураки, выбирают лучшее.

Дядя Мишуня ходил по комнате, сжимал-разжимал кулаки и скрипел зубами. Наконец, он не выдерживал, приоткрывал дверь, говорил жестко:

— Женюся, иди сюда. Иди немедленно, я тебе приказываю. Нечего тебе с ней разговаривать, с ней будут разговаривать там, где следует!

Ему ответом была оторопелая пауза, затем рвалась, ударяясь в потолок и стены, новая разъяренная вспышка, но тетя Женя к тому моменту оказывалась уже среди своих, за дверью, качала головой и вытирала слезы.

И вот однажды я зашел случайно на кухню и увидел всех троих в каком-то странном, принужденном согласии. Все они стояли лицом ко мне, как бы позируя для фотографии: в центре дядя Мишуня, тетя Женя справа, слева — Дора Семеновна. Тетю Женю он вяло левой рукой обнимал за плечи, а правой, закинутой за шею Доры Семеновны, живо и грубо млял и тискал ее большую грудь в тонкой бежевой кофте. Она оставалась прямой, застывшей, губы скривились в дурацкую полуулыбку; а тетя Женя смотрела в сторону, пригيبала плечи, терзала тряпку и как бы не видела, не догадывалась, ничего не знала о мишуниной правой руке, и только непрменные, всегда готовые слезы текли по ее щекам и капали с носа.

Он что-то тихо бормотал по-еврейски, взглянул на меня мутно, в упор, сказал сквозь зубы: «Вот... мои жены. Это мои любимые жены... Мои женщины... Мои жены...»

И голос его сдавленно и нервно вибрировал, и в такт разжималась и сжималась рука...

Это было весной, а тем же летом, в жаркий день, я зашел в сарай за инструментами и, открыв дверь, почти вплотную столкнулся с полугой Фаиной, едва не уткнувшись лбом в ее потный живот. В том, что она в купальном костюме, не было ничего необычного, так она всегда ходила по двору, загорала в шезлонге, играла с Кисачеком. Но что ей было делать в нашем сарае?

— Ах! — тихо вскрикнула она. — Ты меня напугал...

Лицо было красное, в мелких капельках, косоватый коровий взгляд, встрепанные, неопрятные волосы... От нее густо несло потом. Я посторонился, она прошла, тяжело, массивно, наклонив голову.

Что ей было делать в нашем сарае, попробовал бы я зайти в их сарай, сколько бы уже развелось разговоров... И тут мне навстречу вышел дядя Мишуня, тоже потный и раскрасневшийся, его рабочая холщовая куртка, «накидка», как он ее называл, открывала волосатую потную грудь, слипшиеся рыжевато-седые колечки...

Он увидел меня, сказал: *«Ой, вейз мир!»* — и поднес палец к губам, изображая лукавый страх. Спросил: «Ну, что там? Тетя Женья в горнице?» Я растерянно промолчал. Он похлопал меня по спине, огляделся, вернулся в сарай, прихватил плотницкий ящик, тот самый, за которым я сюда направлялся, кивнул мне, давай, мол, следуй за мной, и в галопе на босу ногу прошлепал на задний двор. Там мы с ним начинали строить беседку, очень нужное и полезное сооружение, окончательный, ожидаемый вид которого не был известен ни мне, ни ему...

8.

Все первые послевоенные годы (два, три, или пять, не знаю, сколько...) спрессовались в моей запоздалой памяти в один непрерывный и плотный год. Я учился во втором и четвертом классе, тетя Женья работала кассиршей в столовой, а также сторожем в ЖКО, а также вообще нигде не работала, Динуся восстанавливалась в институте, расходилась-сходилась с мужем, рожала дочку (как ни странно, мало что изменившую в жизни и характере дядю Мишуню), в Москву наконец возвратилась мама, мы с ней переехали в другую квартиру, в дальний, как раз по диагонали, вполне городской район Москвы, с асфальтом, автобусами и трамваями... И дальше, и дальше дни и события не наращивали, не удлинняли времени, а только лишь увеличивали его плотность в том же объеме. И однажды зимой в какой-то год (уже, быть может, и непригодный для того, чтобы числиться в послевоенных) в воскресенье утром, наведавшись в гости, я застал дядю Мишуню в постели, страшного, с обвязанной бинтом головой. Он лежал с закрытыми глазами, стонал, тетя Женья ставила ему горчичник на сердце. Тут же рядом сидела Дина-Динуся, распустив роскошные рыжие волосы, плакала и упрасивала:

— Папуля, прости ради Бога!

Обнаружилась удивительная история, к счастью, с благополучным, как тогда казалось, концом.

Накануне вечером все услышали вдруг, как кто-то ходит под окнами дома, скрипит снегом, ходит и ходит, по несколько раз повторяя все тот же круг.

— Представляешь? Как привязанный! — сказала тетя Женья. — И главное, Джульба была на улице и не лаяла, ну, такая подлая! Как будто это лучший ее знакомый. Она, конечно, уже старуха и может на своих полаять сослепа, так если ты лаешь уже на своих — полай на чужого, хотя бы на всякий случай!..

— Боже, она его вспомнила! — всхлипнула Дина. — Я его забыла, а она его вспомнила! И ведь маленькая была, совсем щенок, полгода или, может быть, год, не больше...

— Ой, перестань! — отмахнулась тетя Женя. — Ты так говоришь, как будто ты знаешь.

— Я знаю, мама, я знаю, никаких сомнений!..

Со всеми этими всхлипами и перебивками я все же дослушал, и было вот что.

Погасили свет, смотрели в окно, увидели: действительно, ходит мужчина, крупный, но подробнее разглядеть не смогли. Стали кричать: «Кто там, кто там!» — в четыре голоса: Дора Семеновна, тетя Женя, Фаина и дядя Мишуня. Никто не ответил. Тогда Мишуня, мужчина в доме, одновременно удерживаемый и подталкиваемый, отпер наружную дверь и встал на крыльце. Тот уже уходил, приближался к калитке. Мишуня его окликнул.

— Сам не знаю, зачем. Мать честная! Убить меня мало.

Тот как раз и попробовал это сделать. «Кто там, стой!» — по-дурацки крикнул Мишуня, и тот сразу обернулся и выстрелил. Выстрелил — самым настоящим образом из самого настоящего пистолета! И исчез, как будто его и не было.

Мишуня припал к косяку, тетя Женя взвыла, голова у него была в крови, но оказалось, прострелено только ухо, как раз по верхнему краю.

— Один сантиметр, — говорил потрясенно дядя Мишуня, — представляешь, сынок, один сантиметр, и ты бы уже меня хоронил. Как пить дать. Честное-мое-слово! Вот судьба! А ты говоришь — не бывает...

— Нет, надо позвать Локтева, — настаивала тетя Женя. — Вы не хотите, так вот я сейчас сама: встану, оденусь и позову.

— Какого Локтева, глупая твоя голова? — оживал сразу же дядя Мишуня. — Локтев уже три года как в Кунцеве, начальником паспортного стола.

— Ай, какая разница, даже лучше. Пусть другой, кто там вместо него?

— Медунов... Ой, сердце!.. Медунов Николай, он же ко мне приходил два раза, ты что, глупенькая, не помнишь?

— Я помню, помню. Я все помню. Последний раз ты еле очухался...

Дядя Мишуня р а н е н, в него с т р е л я л и. Я никак не мог вобрать в себя это событие. Оно было откуда-то не отсюда, из какой-то другой, не нашей жизни. И вообще не из жизни — из книг, из кино. Война уже много лет как кончилась; даже там, далеко-далеко, где на самом деле стреляли, — даже там уже давно не стреляли. Но здесь, в Москве, в нашем дворе, в моего дядьку! И кто был тот человек, и зачем, и за что?

Но Динуся как будто все знала заранее, и она говорила так быстро и так убедительно, всхлипывая то ли от жалости, то ли от радости, что всем передала свою уверенность. Вне сомнений, это был Андрей Ольховский, ее школьный товарищ, сделавший ей до войны предложение, безумно в нее влюбленный. Всю войну он писал ей страстные письма, и она его обманывала, отвечала, ну как ему было написать туда...

А после войны он служил в Берлине, теперь вернулся и все узнал. Она встретила Тamarку из их класса, Андрей приходил к ней на прошлой неделе, пьяный, расспрашивал о Динусе и все тащил из кобуры пистолет, говорил, что застрелит Динусю и мужа и сам застрелится.

— Боже, Боже! — качала головой тетя Женя. — Но как же так, почему же он в папу, при чем тут папа?

— Он был пьян! — с гордостью сказала Динуся. — Он хотел убить меня или Толю, но он был пьян, не узнал голоса и выстрелил в темноте наугад. И пожалуйста, ведь все уже обошлось, я прошу, мамуля, ради меня, не надо никуда заявлять, ну пожалуйста, ну папуля, прости ради Бога!..

От этого удивительного происшествия остался у него на ухе надрыв — маленький, на самом-самом верху, кто не знал, мог не заметить. И еще — привычка двумя пальцами трогать его и слегка потирать, как бы проверяя, тут ли он еще, не зарос ли...

А потом, позже, через два года, это раненое ухо он обморозил. Никогда ничего с ним такого не было, по полдня в любые морозы ходил с молотком и пилой по своим владениям, а тут вдруг обморозил, и где? — в городе, пересаживаясь с метро на автобус, за какие-то пять или десять минут. К тому времени старый наш дом снесли и сровняли с землей. Они жили с тетей Женей в отдельной квартире, на скучной и безликой пятиэтажной окраине. Он в тот день был один, в гостях у Динуси, распил с зятем бутылку водки и почти трезвый ехал домой. Такая случилась беда. Ну конечно, прямо так, что беда, сначала никто не подумал. Мазали салом, мазали йодом, а все не проходит, краснота и корка, болит и чешется. Он пошел к хирургу — его послали к онкологу. Тетя Женя мне позвонила, и я приехал.

Мы выпили с ним по три стопки водки, и он сказал мне:

— Хреновая жизнь. Живешь, живешь, а зачем, непонятно. Помрешь, ничего от тебя не останется. Вот посмотри, ты у нас во всем разбираешься. Все анализы сделал, и все хорошие, я такого даже не ожидал, только один, говорят, не того-с. Так может у человека в моем возрасте, с грудной жабой, с такой нервозностью, и который выпил столько водки и обнял столько красивых женщин, может быть один неважный анализ?

И он протянул мне кипу бумажек. Я стал перелистывать и откладывать. Кровь, моча, рентгеноскопия...

— Вот, говорят, вот этот, что ли...

Да, это был именно он. «Атипичные клетки в большом количестве. — Сг» И печать, и подпись.

— Что ты задумался? Плохо мое дело? Конченный я человек, а? Да ты говори прямо, не бойся.

— Ну нет, — промямлил я, — ничего... Конечно, это не вполне нормально... Вообще все правильно, надо лечиться... Чего там... С врачами поговорить...

— А что это значит вот здесь: Сэ-че?

— А, это... Ну... счетчик. Лаборант, что ли. Вот видишь, подпись. Эс-че, счетчик такой-то. Да ты не расстраивайся, ничего страшного...

— Да! Да! Так я и знал! Конченное мое дело. Никчемный я человек. Никудышный я человек.

Это он уже не говорил, а шептал сквозь слезы, почти беззвучно.

А потом — больницы, разговоры с врачами, красивое слово «эпителиома», которое я, чтоб втереться в доверие, старался произносить, как они, небрежно и буднично, и даже с легкой беспечной улыбкой всезнания.

Мик послушал докторов —
Он и весел и здоров.
Мак не слушался врача —
Вот и тает, как свеча.

Его оперировали, но неудачно, слишком мало отрезали, пожалели ухо. Пошли метастазы в Гассеров узел — сплетение лицевых нервов, начались почти постоянные дикие боли. И сердце его, после двух инфарктов дышавшее, как он сам говорил, на ладан, и столько раз его подводившее — подводило его и на этот раз, никак не желало отказывать, а желало неумоимо длить его муки до последней меры возможности.

Сначала я ездил по несколько раз в неделю. Привозил лекарства, отвары и травы, в замечательную силу которых, едва услышав, начинал немедленно верить. Но силы никакой в лекарствах не было, с каждым разом ему становилось все хуже и все трудней становилось с ним разговаривать. Он встречал меня, пожалуй, уже и без радости, хотя все еще с нервным нетерпением:

— Заходи, заходи. Давай, раздевайся. Садись, ну? Ну что же ты, а? Ну? Что нового? Нет, подожди...

Заставлял тетю Женю налить мне водки. Немедленно.

— Выпей, потом расскажешь. Ты пьешь, а я получаю удовольствие. Видишь, это все, что я еще могу.

Он уже почти не вставал с постели, я подсаживался к нему, жуя капусту, и он брал мою руку в свою, теплую, вялую (та же ли это была рука — всегда напряженная, цепкая, хваткая, диктующая и твердо ведущая?), заглядывал мне прямо в глаза мутным, раздавленным, сумасшедшим взглядом и спрашивал:

— Неужели это все-таки рак?!

И с каждым разом все большего труда стоило мне не отвести глаза, не расслабиться, не кивнуть ему, не сказать:

— Ну конечно, Господи, а что же еще!

И я стал приезжать все реже и реже, вот уже и не чаще двух раз в месяц, и прощаясь в коридорчике с тетей Женей, одеваясь, целуя ее дряблую щеку, не промалчивал, а говорил ей: «Ну-ну, держись!» — вот ведь мерзость человеческая, вот ведь подлость... Он был ее единственной вечной любовью, ни Динуся, ни долгожданная внучка в сравнении

с ним ничего не значили. И сейчас — оставаться с ним с глазу на глаз, каждую минуту ожидая конца, ворчать на него, когда он стонет и жалуется, — это было невозможно одному человеку, это надо было с кем-то делить, и ясно ведь, с кем... Но я как бы этого ничего не знал, я как бы заведомо был уверен в справедливости принятого порядка: я уезжаю к себе домой, а она остается здесь, вот со всем этим. «Держись!» За что ей было держаться? За него и держалась всю жизнь...

Надо думать, это было не в самый последний приезд, но теперь я вспоминаю его как последний.

Напоив меня водкой, накормив ужином, она спросила робко:

— Ты еще посидишь? Я воспользуюсь, сбегаю пока в магазин. Вечером придут колоть морфий, но тогда уже, наверно, Динуся подъедет, а сейчас я быстро, я полчаса...

Он дремал, но как только хлопнула дверь, сразу открыл глаза и сказал отчетливо:

— Ты здесь? Подойди. Сядь. Не на стул, на постель. Ближе. Дай мне руку. Вот так. Слушай. Ты знаешь, кто это сделал?

Я подумал, он бредит. Глаза были мутные.

— Что ты, о чем ты? Хочешь попить?

— Ты вот что. Ты слушай меня внимательно. Ты должен помнить. В меня стреляли тогда во дворе...

— Ну? К чему это ты?

— Дурачок. Дурачок ты. С этого же все началось, глупая твоя голова. Вот...

Он покрутил рукой как бы возле уха, на самом деле — почти не отрывая руки от одеяла, но я его понял.

— Он меня хотел убить — и убил!

— Кто? Андрей? Но ведь он не тебя...

— Какой там Андрей! Никому ни слова. Обещаешь? Как перед Богом? Ну то-то. Это Локтев в меня стрелял. Бывший наш участковый. Хороший мужик, сколько мы с ним выпили, чтоб ему ни дна, ни покрывки. Бандит оказался — первой гильдии. Захотел убить — и убил. И правильно! Конченное дело, пропащий я человек...

Глаза его, мутные от морфия, ошалевшие от боли, были глубоко наполнены слезами, губы двигались скованно. Но он хорошо понимал, что говорит. Я же так растерялся, что утратил бдительность, забыл выдать дежурную дозу, мол, что за бред, почему «убил», ты еще живой, ты еще поживешь, врач говорит... И пару жидких, бессмысленных медицинских подробностей, за которые он охотно ухватится. Я заметил уже с большим опозданием, что он, поглощенный все время одним, он-то бдительности как раз не терял, он поймал меня на слове, верней, на отсутствии слов и, похоже, именно это сейчас переживает, именно этим больше всего и мучится. Но уже как бы шла другая тема, и я позволил себе не отвлекаться.

— Так это не Андрей? Ты точно знаешь? Локтев... Помню. Не мо-

жет быть! Зачем? За что? Что ты мог ему сделать? Такого страшного, чтобы так...

— Значит, помнишь Локтева? А Ольгу помнишь? Ну вот, то-то. А он с ней жил. Ты не знал? Она ему была как жена. Даже больше, ты понял меня? Даже больше! А потом, после той нашей поездки... Ты же ездил со мной, помнишь? Ну вот. Мы тогда уже с ним разошлись, не дружили. Но он-то почувствовал, догадался, мерзавец. Он ей говорил, она мне сама рассказала. Убью, говорит, твоего жидка, так и знай! Ну вот и убил. Нет, антисемитом он не-е был. Антисемитом он не-е был. Это он так, со зла. Горячий был парень... Хотя черт его знает, в душу не вле-зешь. Ну-ка встань, встань!

Я встал.

— Повернись спиной.

Я повернулся.

— Подойди к буфету.

Я подошел.

— Левей, левей. Видишь ящик?

Я, конечно же, видел ящик.

— Возьми ключ, вставь, отпри.

Ключ от ящика лежал в фарфоровой соуснице, а в ящике, среди фотографий, рецептов, облигаций, авторучек и прочего хлама, я должен был у самой задней стенки найти серебряный сундучок, размером со спичечную коробку, сводчатый, весь в ажурных узорах. В детстве я с ним любил играть, мне казалось, что он, даже если пустой, хранит невидимые сокровища или иглу Кощеевой смерти. Оказалось, что нечто в этом роде он теперь и хранил.

В сундучке тоже был свой замочек, но он уже давно не работал, и надо было просто откинуть крышку. Там, под перламутровым гарнитуром — две запонки и булавка на галстук, — лежал бесформенный серый кусочек металла.

— Видишь?

— Вижу.

— Понял?

— Понял. Откуда ты ее взял?

— Из наличника. Ты думал, я такой дурачок? Я потом вышел один на крыльцо, встал, как тогда, поглядел на уровне уха и ножом... Представляешь, если б я на него заявил? Мать честная! Одно мое слово, и он погиб. Восемь лет, как пить, это не меньше... Ну, а я, старый дурак, решил: пронесло и ладно. А теперь, брат, поздно, он сам уже помер, меня обошел. Сердце было тоже никудышное. И пил, как лошадь. Мне не чета. Я триста грамм — он пол-литра. Я пол-литра — а он семьсот, я семьсот — он литр. Такой был мужик, трясца его матери!..

Он вдруг подтянулся, воспрял духом, что-то впрыснули в него эти воспоминания, может быть, чувство собственной значимости, ощущение, что жил он все же не зря, не впустую, красиво, или как-нибудь там еще...

А я сидел, слушал и думал: Ольга и Локтев!.. Вот уж о ком не сказал бы «горячий парень»! Локтев был вялый, сырой, блеклый, хоть и крупный, но какой-то совершенно стертый, если бы не синяя миллицейская форма, кажется, растворился бы в воздухе. Пил, действительно, но и Мишуня пил, поди разбери, кто больше, кто меньше. Выпив, несколько оживлялся или, вернее, слегка оживал и рассказывал каким-то брезгливым голосом с упорным постоянством одно и то же: как его уважает и ценит начальство, какую он имеет власть на участке и как может арестовать в любой момент кого пожелает. «Кого пожелаю. Вот сейчас укажи — встану, оденусь, пойду и доставлю!» И затем следовала непременная шутка: «А могу и тебя!..» Мне кажется, даже дядя Мишуня в конце концов устал восторгаться, качать головой, хохотать и повизгивать и отработывал все это кое-как, невпопад... Локтев. Убить — в это я еще мог бы поверить. Но Ольга... Воистину, чего не бывает на свете!

Мы еще поговорили с ним о нашем прошлом, о той нашей с ним поездке, об Ольге. Он поддакивал, удивлялся, как много я помню, радовался и быть может, слегка заискивал («Мать честная! Ты же был вот такой шпингалет!»), и даже порой, как мог, в полгубы, улыбался. Боль его словно бы вовсе оставила, и я подумал: мало ли что... а вдруг пронесет?..

Пришла тетя Женя, я начал прощаться, сказал ему: «Ну, давай, держись!» — и вышел, и ей сказал в прихожей: «Держись».

И уже стоя на остановке, в сумерках, один, засыпаемый снегом, стал по-настоящему вспоминать то, что, в сущности, помнил всегда.

9.

Тогда тоже была зима, вечер, легкий мороз, снег...

По Москве он таскал меня всюду с собой, но в командировки не брал ни разу, а тут решил почему-то взять. Странно, но я ему не мешал, а скорее напротив, придавал уверенности. Он ведь был, по сути, одинокий человек, здесь же он знал, что ему обеспечена хотя и бесполезная, и молчаливая, но зато безоговорочная поддержка. Он служил тогда в каком-то снабжении, разъезжал с договорами по Московской области и в тот вечер пришел домой возбужденный, бурлящий изнутри и румяный снаружи.

Как всегда, ничего не сказал сразу, все важное оставил на потом, на сюрприз, выпил водки, похрустел капустой и луком. Я всегда очень хорошо его чувствовал и сейчас знал, что что-то он приберет, но не спрашивал, этого было нельзя, мое терпеливое молчание входило в игру, а только ждал и вертелся поблизости. Наконец, он меня подозвал, усадил рядом, больно проверил на каждом пальце, коротко ли острижены ногти, велел не горбиться, прислониться к спинке, и вдруг, как бы продолжая разговор, спросил:

— Ну так как, банда батьки Кныша, я не понял, ты едешь — или не едешь?

Я аж захлебнулся:

— Ты что? Куда?
— Как куда? Разве ж я тебе не говорил? Я тебе говори-ил. Я говори-ил. Я говори-ил...
— Ничего ты не говорил!
— Ну вот, здравствуйте, имей с тобой дело. Нет, ты не деловой человек. Ты еврей, я с евреями дел не имею...
Наконец, попробовав все свои прибавки, он сказал ключевые слова:
— В Серпухов!
— Что ты выдумал, — заговорила тетя Женя, — таки едешь?
— Еду! И — не позднее, чем завтра! И мальчика забираю с собой!
— Надолго? Что же ты мне не сказал? Какой ты...
— Не мог, Женюся, пойми меня правильно. Государственной-важности-дело! Точка. Еду надолго. На целые сутки. Заготовь нам, Женюся, побольше еды и как минимум по две бутылки на брата...

Мы вышли с ним из калитки в сумерки, шел легкий снег, он держал меня за руку, в свободной руке он нес чемоданчик, а я — матерчатую сумку с котлетами. Там, конечно, была и другая еда, но больше всего там было котлет, тетя Женя полдня специально их жарила, держа демонстративно, на видном месте, разобранную, свежeweымытую, с в о ю мясорубку... И поэтому я запомнил именно так: сумка с котлетами. Одежды мы были с ним великолепно. Я — в новых черных валенках с галошами, в кожаном пальто с коричневым мехом, перешитом тетей Женей из старого отцовского; он — в фетровых подшитых бурках, в штатских синих бостоновых брюках, в черном длинном пальто с каракулем и в такой же, кожей обшитой, шапке. Он был гладко и подробно выбрит опасной бритвой и даже с н я л в этот раз усы, так что выглядел странно и непривычно, и когда разговаривал, верхняя губа, казалось, движется несколько скованно, как бы стесняясь собственной наготы. Он был в веселом праздничном напряжении, нервно мямл мою руку, зачем-то оглядывался и по мере приближения к остановке троллейбуса — а идти было надо минут пятнадцать — становился еще возбужденнее, но и легче, как-то расковывался, освобождался и, казалось мне, на глазах молодел. И — говорил, говорил непрерывно. Рассказал, как в тридцатые годы он жил в Сибири, служил в каком-то продуправлении, и каких замечательных имел лошадей, все соседи узнавали его бричку издали, называли ее «тачанка». Но однажды... Мы как раз переходили по мосту через нашу замерзшую, засыпанную снегом речушку. Он и вспомнил и тут же мне рассказал, как однажды ночью он шел зимой через реку от одной за-а-мечательной дивчины. И вышли ему навстречу трое, и как раз на самой середине реки — а река ба-а-лышущая, не то что эта, с километр как минимум, а то и больше — и как раз на середине реки раздели. И топал он домой, наверное, час, босиком и в одних кальсонах. Мать честная!

— Как раздели? Ты сам разделись?

— Ну, ясное дело. Окружили с ножами, говорят: «Сымай!» Я и «сымаю». Хотели резать, а потом решили, и так замерзну. И хочешь — верь, не хочешь — не верь, даже и не чихнул после этого. Здоро-

вый был, как бугай, не то что сейчас. Воз груженный поднимал плечом. Подниму, держу, только поплеваю, а кучер колесо меняет. Торопится. Я ему говорю: не спеши, не спеши, делай по правилам... Ну вот, пришел я тогда домой, выпил двести грамм, ноги водкой натер и заснул, как убитый, и встал, как ни в чем не бывало, — опять казак казаком... Такая история.

— А тетю Женю... — вдруг, сказал он тогда с каким-то, как мне показалось, усилием, — тетю Женю я крепко любил и жалел. Она была у меня что надо, все завидовали. Да, любил и жалел... Ну, это уже другой разговор. Не горбись!..

И словно исполнив долг, освободившись, повеселел и полегчел окончательно.

Я знал, разумеется, что будут сюрпризы, без этого он часа прожить не мог. И все же я здорово растерялся, когда на вокзале чужая женщина, молодая и, как в анекдоте, красивая, русская — радостно бросилась ему на шею.

Он поставил чемодан, расцепил ее руки.

— Тихо, тихо, погляди, погляди...

— Да? — она опустила руки в зеленых вязаных варежках, отступила на шаг, огляделась серьезно; испуганно — и тут же улыбнулась облегченной, ясной улыбкой.

— А-а! Как хорошо, как хорошо!

На ней было черное пальто в талию с небольшим чернобурым воротником, такие же валенки, как у меня, и под цвет зеленым варежкам зеленый платок. Тогда она мне сразу показалась красавицей, я так и подумал этим сказочным словом, впервые приложив его к живой женщине. Теперь, разглядывая ее отсюда, я, пожалуй, этого не нахожу. Но была она, безусловно, живая, свежая и новая, невозможно новая в каждом своем движении. Я подумал тогда, что похожа она на артистку, на какую-то из моих любимых, но не мог понять на какую именно. Получалось, будто на нескольких сразу: на Орлову, Ладынину, Целиковскую...

С ходу, без паузы, не раздумывая, она сделала шаг ко мне, наклонилась, положила мне на плечи ладони в варежках и крепко поцеловала в щеку.

— Чудный у тебя племянник, Миша, — сказала она. — Похож на тебя? Нет, не похож. Ни капельки! Странно.

— На отца, — сказал он серьезно. — Вылитый. Исключительный был человек! Вот, оставил... Так теперь вдвоем и воюем. Ничего, он у меня казак. Проходи, казак...

Но я не мог сдвинуться с места. На меня впервые нашло то особое, дурное оцепенение, какое потом, в последующей жизни, и детской, и взрослой, повторялось не раз и теперь хорошо мне знакомо. Возникает оно всегда в переходный момент, когда ситуация в чем-то резко меняется: иная обстановка, иные люди или, скажем, иное значение жестов и слов. Будто ты играл и играл привычную роль, играл, как дышал, — и

вдруг, мановением чьей-то руки, попал в совершенно другую пьесу, и отныне что бы ни сказал и что бы ни сделал — все будет нелепостью и бессмыслицей. И ты об этом не столько знаешь, сколько чувствуешь, как бы физически — телом, спиной... И случись это в пятый, в десятый и сотый раз — ты будешь снова так же нем и бессилен, разве только будешь знать, что это проходит, и ждать, когда наконец соизволит пройти...

Но тогда я еще не знал и этого и стоял, беспомощно застыв, замерев, с перехваченным горлом и влажным лбом. Дядя Мишуня прошел вперед по инерции, потом обернулся, взглянул на меня, раскрыл было рот, но мотнул головой и не стал ничего говорить. А она тоже обернулась, взглянула и то ли по его незаметному знаку, то ли по собственному порыву вдруг быстрым шагом вернулась ко мне: «Ну что ты, милый, пойдем, пойдем...» — положила мою руку на сгиб своей и так, не за руку, а словно бы под руку, мы с ней вошли в вагон и Мишуня — следом...

Вагон был такой же, как тогда из Челябинска, но только почти пустой. Мы сели вдвоем у окна за столик, и Ольга села напротив меня, расстегнула пальто, развязала платок. Открылся свитер с большим воротом, мягкой, бархотной черноты, и неожиданно короткие волосы, чуть длиннее, чем у Зои Космодемьянской, не темные, но и не очень светлые, красивые — такие, как надо... Она поглядывала то на меня, то в зеркальце, и когда в зеркальце, то все равно на меня, так мне казалось. Улыбнулась — это уже точно мне, тряхнула головой ободряюще-дружески, прикрыв глаза, такая, мол, жизнь, не грусти, все будет в порядке... Потом уставилась на дядю Мишуню, уперев лицо в ладони, а локти в столик. Он усмехнулся, спросил:

— Ну что ты, что ты?

— Ничего, — сказала она, — вот мы и поехали...

Поезд тронулся, стало совсем хорошо.

Дядя Мишуня открыл чемоданчик, достал поллитровку, вытащил из моей сумки сверток с тетижениными еще не остывшими котлетами, и я внутренне дернулся, но только на краткий миг. В этой новой игре были новые правила, я их принимал, и они мне нравились. «Миша» — называла его она и еще иногда говорила «Мишенька», но ни разу не сказала ему «Мишуня», как все, кто в той, другой нашей жизни имел к нему близкое отношение...

И понял я так, что мы с дядей Мишуней на время, на краткую эту поездку, отрекаемся, что ли, от старого мира, как пелось в прекрасной песне с непонятным названием. А то, что мы этот старый наш мир предаем, или, иначе говоря, обманываем, — это чувство я тоже в себе ощутил, но и в нем была своя острота и своя особая радость. Мне было интересно, мне было празднично — я тоже как будто вырвался. И так при этом удачно устроился, что на воле, в новой, чужой жизни, с чужими людьми, а все равно под родной, надежной защитой...

Он уже завелся на воспоминания и рассказывал дальше, теперь уже больше ей, как в той же Сибири ехал один зимой через лес. Там было

все необходимое, в этом рассказе: глухая ночь, лютый мороз, пугливая лошадь и, конечно, волки.

— Вышли из лесу впереди, метров двести, не больше, штук пять, честное-мое-слово, лошадь стала, что ты скажешь, путейное дело! Я взял из саней соломы, хочу поджечь, а она не горит, трясца ее матери, промерзла совсем, только спички трачу. А ружья нет, и один, и дрожу, как цуцик, то ли от холода, то ли от страха. Честно говорю, как перед Богом: напугался крепко. И уже было думаю: все, погиб, конченное, брат, твое дело. Вдруг гляжу — мать честная! Прямо за ними, с той стороны выезжает мне навстречу тройка. Их тут же как вымело. А это Егоров, председатель колхоза, мой знакомый, лихой был мужик, орел, сколько мы с ним... ну, не в этом суть. Подлетели они ко мне — а он ездил с кучером, и возок у него был красивый, как у купца, с крышей и полостью, все отдать и мало... Приказал он кучеру придержать, а сам из возка смеется: «Что, Моисеич, боишься сибирских волков?» «Да нет, — говорю, — возвращаться надумал, бумаги, дурья голова, забыл...» Ну, он посмеялся еще, но дальше пытаться не стал. Привязали мы мою лошадь к его возку, пересел я к нему в тепло, у него там, кстати, нашлось... И доехали мы обратно домой весело, за милую душу... Ну, давай еще по одной. Аминь!

Он резко опрокидывал свой стаканчик, морщился, кричал, краснел, выдыхал... А она пила без усилий, глотками, как воду, и потом улыбалась и не спешила закусывать, и отщипывала, наконец, кусочек хлеба, а к котлетам так и не прикоснулась... Но слушала замечательно хорошо, трясла головой, ужасалась, смеялась... И все время поглядывала на меня, приглашала в свидетели, в соучастники...

И мне было радостно, и мне было весело, и мне было девять лет, и я был влюблен и счастлив.

На вокзале в Серпухове подошел к нам мужик в тулупе, еще издали помаhal рукой в большой рукавице, крикнул хриплым голосом:

— Михал Моисеич! Ольга Иванна!

— Привет, Сергей! — сказал степенно дядя Мишуня. — Не опоздал, молодцом, молодцом.

Сергей подвел нас к саням-розвальням, показавшимся мне огромными. И была впряжена в них совсем небольшая лошадка, трудно было представить, что она их сдвинет, да еще с нами со всеми. В санях лежала солома, крупная, ломкая, равномерно умятая по решетке днища, и навалены были в кучу тулупы, такие же, как тот, что был на Сергее. Ольга расстелила один тулуп в передке саней, на него мы с ней сели, верней, полулегли, спиной к лошади, а другим укрылись, прижавшись друг к другу.

— Сами будете править, Михал Моисеич? — спросил Сергей.

— А то как же! — ответил мой дядька и принял вожжи. — Это ты здесь без меня казак, а теперь будешь у меня пассажиром.

— Добро, добро, — сказал усмекаясь Сергей. — Только лошадь не гоните, Михал Моисеич, она у меня за день сегодня намаялась.

Он лег вдоль саней с моей стороны, накрылся еще одним тулупом, с головой, так что только ноги торчали в серых огромных валенках,

и сразу исчез как одушевленный предмет, стал как бы частью оснастки и упряжи.

А дядя Мишуня не лег и не сел, а немного раздвинул ногами солому, поискал на ощупь опору и встал во весь рост, почти у самого среза, широко, наискось расставив бурки, крикнул «и-эх!», крутнул вожжами — и мы поехали.

Развернулось, отодвинулось и померкло здание вокзала, мы въехали на темную, сельского вида улицу, где не было ни одного фонаря, и только редкий огонь в окне высвечивал уплывающие назад заборы и крыши. Мягкий мелкий снег далеко относил движением, перед нашими глазами его было больше, чем падало нам на лица. Брезентовые вожжи мотались над моей головой, сходясь высоко наверху, в руках у дяди Мишуни. Лица его было почти не видно, и я иногда представлял с содроганием, что это не он, другой, чужой... Везет, неизвестно куда. Но тут случайный свет из окна обрисовывал безвольный его подбородок, наш фамильный, такой же, как у меня, единственное, в чем мы с ним были похожи, — и мне сразу становилось тепло и уютно, и уже я гордился, что вот он какой, почти чужой, смелый, ловкий, правит лошастью, и этой грудой дерева, и всеми нами, стоит и не падает... И все занимательные его истории, леса, бандиты, лошади, волки и реки, воспринимавшиеся мной всегда отвлеченно, абстрактно, так что было мне и неважно, что правда, что вымысел, становились теперь, сразу, все скопом ошутимой жизнью и правдой. Да и сам я как будто попал в такую историю, словно он мне ее про меня и рассказывал.

Все казалось сказочно неправдоподобным. Было странно сознавать, что скрипучая эта конструкция движется не безличной мощью мотора, а силой живого существа, почти человека, ну разве что более крупного, более сильного. Колея из-под полоза вылетала близко, почти осязаемо, сани скользили удивительно быстро, и было страшновато от этой бегущей у самых дядькиных ног наждачной поверхности и еще — неловко перед несчастной лошастью, которая вынуждена, бегом, бегом, тащить неизвестно куда четверых здоровых себе подобных.

И Ольга, странная взрослая женщина, и в то же время как бы не очень взрослая, отчего-то была здесь рядом со мной, тесно, вплотную, не отодвинувшись, я почти лежал на ее руке, крепко обнимавшей меня за шею, — и поглядывала на меня с умилением.

— Господи, какие глаза, какие ресницы! Миша, Мишенька, слушай, подари мне мальчика!

Ее губы жили и двигались близко, у самого моего лица, слишком близко и слишком крупно, так что я переставал воспринимать ее в целом и не мог временами понять, что происходит, и оценить, хорошо это или плохо. От нее здорово пахло водкой, но это ничуть меня не отталкивало, а даже, быть может, еще больше сближало: этот запах был мне родным, так пахло от дяди Мишуни...

— Подари, Мишенька!

Он слегка приседал то в одну, то в другую сторону, сохраняя равновесие на поворотах, и не глядя на нее, мотал головой:

— О-ох, трясца твоей матери, бандитка ты, Ольга. На что он тебе, хулиганка, на что он тебе? Играть? Так он не игрушка. Он не игрушка.

— Нет, я не играть. Я буду за ним ухаживать, кормить-поить, веселить его буду, а вырастет — замуж за него пойду.

— О-ох, мать твою, ну, бандитка, ну, хулиганка!

— А что? Будет у меня жених во-от с такими ресницами.

И крепко целовала меня в щеку, и шептала, касаясь губами уха:

— Не откажешься от меня, возьмешь меня в жены?

И я понимал, что ответа не надо, и все-таки проборматывал еле слышно:

— Возьму...

А дядька мой приседал и посматривал, и качал головой в досаде и восхищении.

— Бесстыжая все же ты баба, Ольга, креста на тебе нет!

— Ого, креста! На тебе, что ли, есть?

— Мне креста не положено, я не крещеный.

— Ну вот и помалкивай. Не даришь мне мальчика? Тогда продай.

— Купи, купи. Но имей в виду, миллионов твоих не хватит. Он у меня один на свете, дороже ничего не имею...

— Ладно, — сказала она, — еще поторгнемся. Ты дорогу-то, Миша, хорошо помнишь, не завезешь нас куда-нибудь спяну?

— Завезу, а то как же! А тебе-то не все едино?

— О-ох, это правда! Вези, куда хочешь, мне все едино...

И вот наконец, совершенно случайно, один из домов на одной из улиц почему-то вдруг оказался тем самым, куда мы ехали. Сергей вскочил сразу, как будто не спал, молча взял вожжи из рук дяди Мишуни.

— Ну, бывай здоров, — сказал ему дядька. — Спасибо, хороший ты человек. Завтра не нервничай, мы сами дотопаем. Да ты не гляди, что он с виду такой, мы с ним по-военному...

Мы втроем прошли через калитку к дому, а там нас тоже ждали и знали. Старуха хозяйка обняла каждого, умилилась мне, проводила в горницу с уже накрытым белым столом, и Ольга сняла тяжелые валенки и ходила в чулках, бесшумно и мягко ступая, и дядя Мишуня доставал поллитровку... Но я уже плыл куда-то мимо, мимо стола и угла комнаты, к большой, глубокой и теплой кровати и вот уже засыпал с блаженным предчувствием, что завтра будет еще веселее, еще интересней и праздничней...

А когда проснулся, было светло, и не было ни Ольги, ни дяди Мишуни. Она уехала рано утром в Москву (передумала, видно, меня покупать), а он пошел по своим заготовчуждениям.

Старуха поила меня жидким чаем и кормила вареньем с каким-то назойливым привкусом. Потом я немного гулял по улице, то есть стоял, как дурак, у калитки, опасаясь непонятных соседских мальчишек и того, что если уйду, не найду дороги обратно. А потом вернулся дядя Мишуня, деловой, бодрый, но не слишком веселый, и мы снова попили чаю

с вареньем, и поели, и угостили старушку котлетами — сколько же их там было! — и пошли на вокзал.

Весь обратный путь был бессмысленно длинным. Однообразные полудеревенские улочки, хмурые прохожие, заплеванный холодный вокзал. В вагоне он все больше молчал, подремывал; я смотрел в окно и изнемогал. Показалось в какой-то момент, что и в самом деле все вчерашнее было сочинено, придумано то ли мной, то ли им. Что не было никакого такого вечера, ни саней, ни Сергея, ни Ольги... Но уже у калитки нашего дома он вдруг остановился, крепко сжал мою руку, так что я едва не заорал от боли, и, приложив палец к губам, сказал:

— Понял?

Я кивнул.

— Ну вот, то-то. Ты, брат, у меня молодцом. Выпрямись!

И толкнул калитку.

10.

— Ну-ну, расскажи, расскажи еще, сыночку, — говорит она, убирая пустую тарелку и подставляя мне новую, с картошкой, с котлетами, пахнущими совсем как тогда, словно теми же самыми.

— Не могу больше, все очень вкусно, но просто некуда!

— Ничего, ничего! — выговаривает она строгим, сварливым голосом. — Ты не спеши, я тебя не гоню, ты выпей еще, давай я тебе налью, и закусишь, вот и выйдет, что ты покушал. Ты кушай и рассказывай. А я буду слушать. Ты так много запомнил. Челябинск, носильщик, и как вы пилили дрова... Расскажи еще!

Ну да, расскажи тебе, думаю я. Нет, уж ты лучше еще поживи, поживи хоть ты...

Я все же пытаюсь добыть хоть что-нибудь, одинаково приятное и ей, и мне, но что-то никак не могу угодить одному из нас, то тому, то другому. И от этих тщетных усилий выплывает совсем уж ненужное, такое, что лучше бы вовсе не помнить.

То я вижу снова — подробно, отчетливо — ту жуткую сцену на кухне. Застывшее, довольное, почти благодное лицо Доры Семеновны; слезы тети Жени, эту тряпку в руках; и надо всем — ошалевшие, мутные, вороватые и жесткие глаза дяди Мишуни...

То как потом, уже после той сцены — то-то было страшно, что по сле — он долбит в их запертую и странно замолкшую дверь:

— А вы мне не плачьтесь, что вы без мужа! Я-то знаю, почему вы без мужа. Погодите, и с вами еще разберутся, кто вы такая!...

А то я вспоминаю его донос, который он все-таки написал — на другого человека, по другому поводу, уже в новом доме... Белый лист, красивый, правильный почерк, равные расстояния между строчками. «Настоящим довожу до Вашего сведения, что гражданин такой-то из квартир такой-то частным образом нанял электромонтера, который произвел, по всей вероятности... («Вероятности» — писал дядя Мишуня). Мною лично установлено отсутствие вращения счетчика, ввиду чего

в ущерб государству расходуется баснословное количество электроэнергии...»

Так и было написано: «баснословное»... Еле я его уговорил не посылать.

Наконец, я вытаскиваю вроде бы то, что надо. Но опять это связано со мной одним. Да и мелочь, в сущности.

— Помнишь, как он меня кормил по утрам?

— Да-да, ломтики, ломтики!

Он вставал всегда раньше всех, «с петухами»... На самом деле, часов в семь, позже петухов, но уж так ему нравилось говорить и думать. С петухами! Он будил меня и всегда перед школой заставлял съедать хоть один бутерброд. С повидлом, а когда появилась возможность, — с маслом.

— Не спеши, — говорил он мне терпеливо. — Не хочешь, не надо. Ей-богу, никто тебя не заставит. Ты слушай меня и смотри сюда. Что ты видишь? Ну? Что — хлеб, хлеб! Еще раз: что ты видишь? — Б о л ь ш о й к у с о к! Невкусно? Совершенно верно, невкусно. Теперь гляди: фокус-мокус. Берем нож, желателно острый, вот, я только вчера его наточил, разрезаем, еще, теперь поперек, на мелкие ломтики. А теперь — пробуй. Говорю тебе — пробуй! Ну? Вот то-то! А ты мне не верил. А ты не верил... А ты не верил...

Или приносил из сарая яйцо, свежее, только что из-под курицы, протыкал в нем иголкой две аккуратные дырочки, сыпал соль сверху на скорлупу и давал мне пить тонкую теплую струйку. Белка, который был тем хорош, что за ним непременно появлялся желток, для которого надо еще было расширить отверстие, расковырять его, но не слишком сильно, иначе он проглатывался вмиг, целиком, не оставляя почти никакого вкуса...

Или картошка... (Все что-то еда и еда.)

— Стой! — говорил он. — Имей терпение. Сейчас я тебе сделаю к в а ц ь. Идет?

— Он оставлял в кастрюле большую часть воды, разминал картошку вилкой, потом толкушкой и еще почти всю слитую воду постепенно тоже добавлял обратно. Получалось действительно очень вкусно, потому что, как он любил объяснять, для картошки главное — это крахмал, а он-то как раз с водой и уходит... Я и сейчас своим великовозрастным детям иногда готовлю такой же квачь и выслушиваю их похвалы с самодовольной улыбкой, молча поминая дядю Мишуню...

Ах, да, вот еще, пожалуйста. Это уже с едой не связано. Как он забирал меня из больницы, помнишь, после воспаления легких, и какая-то идиотка врача сказала ему, просто, чтобы что-то сказать, что мне надо как можно меньше ходить, чтобы не было осложнения на ноги. И он нес меня на руках всю дорогу до дома, то есть сперва до троллейбуса, потом до метро, опять до троллейбуса, уже до нашего, и еще от него полтора километра крутых подъемов и спусков — с его-то сердцем!

Да, и еще, и еще, помнишь? Я вывихнул ногу, мне ее вправили, но было здорово больно, я еле терпел. И он со мной просидел всю ночь,

рассказывал всякие свои истории. Я засыпал, а когда просыпался, видел, как он, держась за голову, стонет и качается из стороны в сторону...

Он не выносил физической боли — и не только своей, и не только моей, а вообще чьей бы то ни было. И даже когда наша Джульба, помнишь? В ЖКО завели большую собаку, овчарку, и она ее покусала. Он не мог смотреть, убежал в дом, и там с ним случился приступ, едва ли не самый тяжелый...

— Да-да, сыночку, спасибо тебе. — Она уже вся в слезах, трясется. — Вот меня тоже скоро не будет, я лягу туда же, рядом с ним, и я хоть сейчас спокойна, что ты нас помнишь. Вот его вспомнишь и меня немножко, кто знает, может, и правда, нам будет от этого легче?

Кто знает, кто знает? — думаю я. — Да никто не знает! Самый умный и самый знающий как раз и не знает. Мы живем в этом мире, не зная самого главного, и ведь вот молодцы какие — не теряем духа, живем!

Я прощаюсь, обнимаю ее, целую, говорю ей: «Ну-ну, не кисни, держись...» — и еще, чтобы как-то завершить этот день, кое-что вспоминаю в метро, по дороге домой.

11.

Мое последнее воспоминание о дяде Мишуне — последнее ж и в о е мое воспоминание — относится к совсем недавнему времени, когда его самого в живых давно уже не было. Так что речь здесь уже не совсем о нем, а скорей обо мне...

Я был вызван — и не вызван, а застигнут на службе и доставлен на серой «Волге» — в одно суровое учреждение, для мирной, впрочем, и тихой беседы на сугубо литературные темы. И не в учреждение, а в его филиал, один из бесчисленных, расположенный в совсем постороннем здании — если есть, разумеется, в нашей стране такие здания, посторонние этому вездесущему ведомству. Сопровождавший меня элегантный и стройный юноша набрал код на двери без вывески, заслоняясь от меня другой рукой (я, конечно, от души посмеялся над этой серьезностью, но не в тот момент, потом, через пару недель...), и мы с ним проникли в большую прихожую, из которой тянулся узкий коридор с дверьми с обеих сторон. Глухие высокие стены, неяркие лампы; мефистофельский острый профиль из желтой латуни, неожиданный тем, что уж слишком был ожидаем; учебный плакат «Пистолет Макрова» — как разбирать, собирать, заряжать (сразу выплыло змеиное слово «шептал»); и мирная передвижная вешалка из гнутого дерева, пустая, одиноко застывшая в пустом углу. Я снял и повесил пальто, прошел в конец коридора, вошел в предупредительно раскрытую дверь и там, за большим Т-образным столом увидел дядю Мишуню...

Вообще говоря, нечто подобное случилось со мной не раз и прежде. Чаще в кино, но порой и в жизни. Все советские чиновники тридцатых — сороковых были словно пародиями на него, и не те, сатирически

изобличенные, пародийные по замыслу авторов, а старательно серьезные, положительные, деловые и мудрые. Но то ли я давно не встречался с чиновниками, то ли место само, где я находился, и способ, каким я сюда попал, были уж чересчур необычны... То ли допустимость любого исхода, обострявшая до предела, у бездны на краю, воображение и восприятие... Но такого ожившего своего дядьки я со дня его смерти не видел. Тут было так, что любая деталь не опровергала, а дополняла: и рост, и жесты, и вот он заговорил — голос и способ произнесения. Словарь был, конечно, богаче, грамотней, разговор шел на тему, дядьке малодоступную, но все это было как бы неважно, дело было как бы не в этом...

Он выглядел старше как раз на те самые годы, дядьке было бы сейчас примерно столько же. Русский, и даже скорее украинец, но и это сходилось. Дядя Мишуня и был ведь по сути русский и даже скорее украинцем. Гладко бритая рыжеватая голова, форма черепа, шеи, размер и форма ушей (отсюда, из безопасного далека, я даже мысленно всматриваюсь, здорово ли левое...), широкие плечи в синем бостоне (тот самый костюм, в котором в Серпухов... нет, конечно, бостона теперь не бывает, но нечто подобное), руки с крепкими туповатыми пальцами, с коротко обрезанными ногтями (может, тоже пилит где-нибудь у себя на даче?). Еще бы светлые бурки... Ног видно не было, и я их легко дорисовал, эти бурки. Это был точный дядя Мишуня, в ы л и т ы й, как он сам бы сказал. Но конечно же, поумневший, обученный, которому раз навсегда объяснили, как надо и как не надо. А взамен отняли всю игру, всю необязательность и никчемность, и от этого щеки его стали серыми, а губы сухими и жесткими...

Я так тогда растерялся от этого сходства, что не спросил ни звания, ни фамилии. Так до сих пор и не знаю и только надеюсь — ненасытное мое тщеславие требует, — что хотя бы не ниже майора. А где-то в дальнем уголке души шевелится: полковник! Непременно полковник. Такой пожилой — ну никак не ниже...

Он спрашивал — не враждебно, но кратко и сухо. Я же так расслабился, так расплылся, что сразу наболтал с три короба — и все лишнее, лишнее. Нет, я не рассказал никаких секретов — но только потому, что никаких секретов не знал. И я не назвал ни одной фамилии — потому что он меня ни о ком не спросил. Но я разговаривал, разговаривал по-домашнему, весело, облегченно: герой, контекст, читатель, писатель, интеллигенция, революция... Вот дурак-то, наверно, думал он, вот лопух-то, с такими только работать. Главное, не оттолкнуть, не спугнуть...

Наконец я остановился, схватил себя за руку, огляделся и подумал оторопело: Ну и ну! Как же и жить после этого? Не-ет, чур меня, сказал я себе, чур меня, какое там сходство, это так, с перепугу мне показалось. Если б живой, подлинный дядя Мишуня вот такое долгое время сохранял эту важность, я бы считал, что он окаменел, что он умер. В нем, даже в самом неподвижном, даже в самом надутым, в нем всегда внутри бушевал огонь, и какая-то то ли еврейская, то ли просто дурацкая искра поминутно прошивала его насквозь. Другой, другой!..

Он словно почувствовал, что я ускользаю, встрепенулся, как марсианин Рэя Брэдбери, и точным, единственно верным движением вдруг постучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака; затем, тоже абсолютно правильно, распластал ладонь перед собой на столе и сказал:

— Вы не думайте, я верну!

Это он перед тем попросил рукопись еще не опубликованного романа.

— Я верну! — сказал он и, как и следовало, повторил тем самым, особым, назидательным, просительно-угрожающим тоном с непременным подъемом в конце:

— Я верну-у... Я верну-у...

И даже еще пожевал, пошевелил губами, словно добавляя недостающее: «Как пить дать» и «честно-мое-слово...»

Но было поздно.

Было поздно, я уже ускользнул, я уже был не здесь, далеко, со своим настоящим дядей Мишуней, обнимал его и просил прощенья у его небезгрешной, но все же невинной тени.

1984—1986

Москва

ВСЕ ЛОМАЕТСЯ

(Из записок ремонтника)

Я начал так:

— Все, что есть под солнцем, рано или поздно ломается. Абсолютно прочного нет ничего под солнцем. Ничего нет прочного, ничего вечно-го. И именно в этом смысле — ничего нового. В том смысле, что новое становится старым и так или иначе ломается. И если есть под солнцем вечное занятие — то только ремонт того, что сломалось.

Да, конечно, и здесь не без оговорок. Говорят, что в Америке... (Тут я, естественно, сделал паузу.) Говорят, что в Америке исчезли сапожники, потому что купить новые ботинки дешевле, чем отремонтировать старые. Перестали ремонтировать ручные часы и начали выбрасывать неисправные телевизоры. Эти, в общем-то, печальные, конечно, новости, даже если они и верны, не должны нас с вами лишать оптимизма. Во-первых, ботинки одно, а приборы все же другое, и здесь на смену простым и дешевым изделиям всегда приходят дорогие и сложные, такие, что удавишься, а не выбросишь. Во-вторых... Что ж во-вторых? Во-вторых — Америка! Мы-то с вами, слава Богу, живем в России. И для полной корректности, чтоб никто к нам не мог придаться, скажем так: если есть под Р о с с и й с к и м с о л н ц е м вечное занятие — так это ремонт. (Оживленные возгласы, одобрителный смех.)

Так я начал, такими примерно словами, первую свою учебную лекцию в 8-м Московском мединституте.

Я ремонтник, это моя профессия. Большинству людей тем и интересен. И вся моя жизнь состоит в том, чтобы уклоняться от их интереса, на что я и трачу максимум сил и энергии. Тех, кто использует мой ремонтный труд, я ненавижу всех скопом и каждого в отдельности, будь то человек или организация, или общая организация всех организаций.

Если бы даже те немногие книги, которые я ухитрился написать в промежутках между торопливым ремонтом всякого электронного барахла — урывая, халтуря, сбегая, лукавя и прячась, — если бы даже те немногие книги были вдруг свободными тиражами изданы здесь, у нас в России, я бы стал богат, как Юрий Бондарев, как Виктор Луи. Я сидел бы в отдельном кабинете, в шлафроке, не боясь ни дверных, ни телефонных звонков, не мучась ни страхом, ни совестью. Я был бы спокоен, я был бы уверен. Я бы знал тогда, что добыча истины не вредит семейному благополучию, а, напротив, с ним хорошо совпадает. Добыл немного художественной правды — подходи, получи, что тебе причитається, для детей, для семьи, для дома...

Но если бы те книжки, что я написал, были изданы здесь, у нас в России, то ведь это была бы другая Россия, свободная, как штат Мичиган, или в крайнем случае несвободная, как республика Чили. Это была бы другая страна, с конкуренцией авторов, с волчьими законами рынка, с диктатором серой читательской массы, без бурных интеллигентских страстей, без заманчивой пропасти между тайным и явным, без книжного и духовного голода. Но тогда бы и книги, что я написал, могли бы, как знать, лежать и пылиться всеми тысячами своих экземпляров, «личный склад автора, Профсоюзная улица...» или как бы она тогда называлась... Не говоря о том, что ведь это бы были другие книги... И был бы я вынужден, чтоб кормить семью, заняться каким-то другим ремеслом, ну хотя бы тем же ремонтом приборов...

Так неоднозначна и противоречива, или, как любят теперь говорить, так а м б и в а л е н т н а вся наша жизнь: не знаешь, о чем и мечтать. Вот разве что, может быть, все-таки об отсутствии страха?...

Уж этот мне страх... Чего я боюсь? Нет, не того... Я боюсь, что все, что я отремонтировал, сломается.

Вот я выйду за дверь — а оно сломается. Я буду мчаться домой, довольный, свободный, — а оно уже снова не будет работать, так же, как прежде, как до меня, или хуже того — свершится новая мерзость — с гулом, с дымом, с треском, с запоздалым вылетом предохранителей.

— Господи! — всплеснет руками женщина, постоянно работающая на этом приборе. — Господи, ну кого присылают! Нет чтоб лучше сделать — совсем запорол!

И чтобы как-то успокоить взметенные нервы, сядет писать на меня телегу. Телега придет на завод не сразу, я еще успею помучиться: придет — не придет? Вдруг меня вызовут к начальнику цеха. Он моложе меня на десять лет, и он мне скажет: «Ну, ты даешь. Дожил, как говорится, до седых волос... — И посмотрит мне прямо на лысину. — Что ж мне,

разряд тебе понижать?» И я, действительно-таки доживший, всеми уважаемый и слывающий, буду переминаться с ноги на ногу, краснеть, потеть, пересыхать губами и путать подлежащее с дополнением. И на этом дело еще не кончится, пойдут обсуждения, выяснения, и, наконец, доподлинно будет выяснено, что я за последние десять лет не прочел ни одной технической книги, не взглянул ни в один справочник, что весь мой багаж — это ловкость рук в буквальном и переносном смысле. Так, со скандалами и унижениями, с несмываемым — на века — позором, рухнет пирамида моей репутации, которую я возводил столь долго и столь искусно и которая была единственным залогом моего относительного спокойствия, моего права на другую, тайную, подпольную жизнь...

На самом деле — точно известно — ничего такого не будет. Женщины, работающие с приборами, знают меня, как правило, много лет и относятся с достаточным пиететом (я выбрал точное слово, заменять не надо). И она, вот эта конкретная женщина, не станет в сердцах писать телегу, а всплеснув руками и воскликнув: «Господи!» — пойдет в буфет: пить кофе и судачить с подружками. А вечером позвонит мне домой и скажет: «Вы уж меня извините, но что-то там опять не того... Замучил вас мой прибор».

Ничего такого не будет страшного — и однако страх мой не эфемерен, не пуст, он наполнен реальной плотью. Потому что любой неожиданный сдвиг обстоятельств — например, интерес высокого начальства, смена сотруddников, комиссия, ревизия, очередная кампания по усилению, — и все невозможное станет возможным, как оно и представлялось мне изначально.

Один мой знакомый поэт-переводчик, переводивший, естественно, только для денег, а для вечности, как все переводчики, писавший свои стихи, сказал мне однажды: «Ты счастливый человек. У тебя работают разные клетки, одни по службе, другие — по душе». Я промолчал, но не согласился. Я не чувствовал, чтобы это было так.

Самый существенный недостаток ремонтной работы — это именно необходимость полной отдачи. Невозможно искать неисправность в схеме и думать о чем-то другом, например... ну да, например, о литературе. Более того, это очень опасно. Не для жизни, я не это имею в виду. Бедный наш Александр Галич — все-таки единственный русский писатель, погибший от высокого напряжения, и думаю, еще долго будет единственным, разве что кто-нибудь из наших тамошних ухитрится заработать электрический стул... Но Галич не был профессиональным ремонтником и вообще, думается, плохо представлял, где оно прячется, это электричество. Ткнул наугад, тут оно и выскочило...

Нет, я говорю не про опасность для жизни — про опасность для дела. Зазеваешься — и простая, привычная операция обернется неделей хлопот и хождений, треплей мозгов и нервов.

Вот ты наживил на отвертку крохотный винтик, вставил в отверстие и подумал: «Вступление надо переписать. Убрать заискивающие интонации, строже, проще, никаких фортелей...» Так мужественно, деловито

подумал — и глядь, отвертка и дернулась, самую малость, и винтик — звяк! — и уже не поймашь, секундой бы раньше! И во-первых, другого такого нет, тоненького, один миллиметр, может, дома, но надо еще найти, и завтра снова сюда тащить, а ведь был уверен, что все, что закончил, собирался заняться своими делами и уже весь день расписал по часам. Но это еще не самое страшное. А самое — то, что он, дорогой, валяется где-то там, в сердцевине, в сплетении элементов и паяк, и уж точно что-нибудь там замкнул. И сейчас ты включишь пакетник — и бух-бух-бух!.. Или лучше того: включишь пакетник, и будет все хорошо и тихо и сегодня, и завтра, и послезавтра, а после-после, в твоё отсутствие, — дым, грохот и женский визг... И сгорит не предохранитель, там у тебя «жук», потому что таких, на шестнадцать ампер и нужной формы, уже два года как нет на складе, жук-предохранитель останется цел, а сгорит, наоборот, силовой трансформатор — вонь, паника, дым, и новый весит двадцать три килограмма, его тебе надо везти на такси, и неделю еще промучишься ставить. И это все не избавит от поисков винтика, который по-прежнему лежит, замыкает, ему все равно, какой силовик, старый ли, новый...

Так гибнет очередной свободный день, «библиотечный», как говорят научные работники, которые в эти свободные дни будто бы ходят в библиотеку. Так или несколько иначе, неважно, гибнут почти все мои библиотечные дни, один за другим.

Вечером наконец, притащившись домой после многочисленных поисков неисправности, когда не присядешь, не перекусишь, потому что надеешься: вот-вот, вот-вот, когда над тобой почти непрерывно нависает общительный хозяин прибора... Ведь бывают не только хозяйки, бывают хозяева. Все они в глубине души технари, мастера-золотые руки, все знают, все могут, и тут — могли бы и сами, да только как бы не желают мараются и тратят свои драгоценные силы... И вот он нависает, сопит, выглядывает, почти касаясь твоего плеча, шумно и суетливо отскакивает, когда ты отклоняешься, чтобы взять паяльник или зайти с другой стороны, спрашивает время от времени: «Ну что, никак? Темный лес? Крепкий орешек?» Каждый твой промах: заклинивший винт, непрочную пайку, упавшую крышку, а еще бы лучше искрение, дым, отказ исправного прежде блока — воспринимается им со сдержанной радостью, с усмешкой сочувствия и понимания, с почти похлопыванием по плечу. Мол, как же, знаем, бывает, да-да, вот и мы, не так, разумеется, часто, не так глупо, но тоже, тоже порой ошибаемся..

Думать в этих условиях нет никакой возможности, можно только перебирать в уме стереотипы, накопленные многолетним опытом. Но часто этого недостаточно. Хозяин прибора (во всех документах, в актах, нарядах, в заводском обиходе и в нашем рассказе именуемый впоследствии «заказчик») оставляет тебя только на один час — уж обедает он, трава не расти, в одно и то же отведенное, время. Тут бы, кажется, и тебе — во рту пересохло, башка гудит — сходить куда-нибудь, попить чаю, съесть сосиску, просто отвлечься, но ты, не усомнившись, остаешься на месте. Потому что именно в этот час, свободный от барской опеки

и хамской заботы, ты и сможешь наконец спокойно подумать, сконцентрировать опыт, сфокусировать зрение — и найти проклятую неисправность. И бывает, что так оно и случается, но чаще всего — ничего подобного. Ты уже слишком устал, напряжен, задерган, и всего лишь час, а быть может, и меньше, может, сорок минут или даже двадцать... И если раньше ты хоть не думал о времени, то теперь ты его начинаешь считать, то и дело поглядывая на часы: сколько осталось. Вот сейчас он появится... И он появляется. Лоснится, облизывается, ковыряет в зубах, улыбается приятельски, с пониманием: «Ну как, все так же? Крепкий орешек?..»

Что было бы самым разумным в такой ситуации? Сказать себе: все, на сегодня хватит! — собрать инструменты и смотаться домой. Пообедать, полчасика покемарить, принять душ, посидеть за машинкой. Серьезного уже ничего не сделаешь, но хоть вычеркнешь два-три неудачных слова, заменишь другими, которые вычеркнешь завтра. Все-таки останется чувство, что ты в работе. А потом перед сном развернул бы схемку, поглядел поспокойней и повнимательней и ткнул бы пальцем: скорее всего вот тут. И назавтра бы почти наверняка оказалось, что если не тут, то уж где-то близко.

Но так разумно ты не поступишь, потому что надеешься: вот-вот, вот-вот, потому что завтрашний день так заманчиво был расписан и смертельно жаль отдавать его идиотским этим приборам, паскудным заказчикам, их сучьему начальству, твоему такому же и дальше, и дальше, и выше, и выше... И что за такая проклятая жизнь (так ты все более раздражаешься, все надежней теряешь способность соображать), что ты, профессиональный писатель, седой, лысый, отец семейства, автор не такого большого множества, но все же изрядного количества книг, за которые не стыдно и ответить где следует (ты имеешь в виду ведомство Господа Бога), что за жизнь, что за такая страна, что ты вынужден ползать среди этих железок, голодный, усталый, в поту и дрожи, не имея возможности сесть за машинку и заняться исконным своим трудом, который и сам по себе не сахар... Вот вступление, черт бы его побрал, лежит уже месяц и просится в руки, и ведь, главное, ясно, что надо делать: убрать заискивающие интонации, строже, проще, никаких фортелей...

И тут ты как раз теряешь тот винтик. Ну не винтик, читатель может подумать, что в приборе ничего, кроме винтиков, нет. Ладно, ты не теряешь винтик, ты просто меряешь напряжение тестером, который случайно включен на омы, и у него сгорает головка. Это крах, это просто конец всему, на заводе нового не допросишься, а работать нечем, без него как без рук... Ну и так далее.

Я пишу эти строки в деревне, в собственном доме (!), купленном всего за двести рублей и отремонти... Ну да, разумеется. Попросту восстановленным мною из пепла, из древесной трухи, из кирпичной пыли — все это со вздохами, стенами, проклятьями, с жалобами на несчастную свою судьбу, которая только тем и занимается, что изобретает забо-

ты и хлопоты, отнимающие у меня драгоценное время и такие же силы...

Я уехал сюда в самоволку на октябрьские праздники и еще на несколько... но это секрет. И вот сегодня — поверьте, я это не выдумал — прервав работу на предыдущей странице, я пошел в город на почту — позвонить домой. А дома сказали: все хорошо, слава Богу, все живы-здоровы, и звонила заказчица номер такой-то, и сказала, что опять у нее замыкание... И туда я шел, наслаждаясь жизнью, широко вдыхая морозный воздух, поглядывая на чистое закатное небо, красно-розовое, переходящее в зелень, на строго вертикальные дымы из труб, слушал размеренный лай собак и думал о жизни, о Боге, об этой книге... А обратно я шел и думал: ну что ж там такое? Четвертый раз одно и то же. Придешь, заменишь реле, микросхему — и все работает. А проходит неделя — и гул, треск, дым и все, как вышеописано. В конце концов ее терпение лопнет, и она, хорошая, милая женщина, тоже всячески обремененная жизнью, возьмет да и ляпнет все ту же телегу. Скажет: «Извините, не было выхода, горит диссертация, начальство заставило...»

Так вот, мой приятель поэт неправ. Вернувшись после такого дня и даже после более легкого, я что-то никогда еще не обнаруживал у себя в мозгу таких особых клеток, которые, пока другие работают, отдыхали бы, попивали чай с вареньем и готовились к литературным занятиям. По крайней мере в моем мозгу нет такой счастливой специализации. Или даже если, скрытая от меня самого, такая специализация существует все же, то, значит, над теми и другими клетками, над техническими и над литературными, а также над семейными и общежитейскими — существуют еще другие, главные, которые расходуются в первую очередь при всех напряжениях и нервотрепках, независимо от профессиональной направленности, и медленно и нехотя восстанавливаются, и есть подозрение, что не полностью. В порядке рабочей научной гипотезы назовем их кратко и просто: *«душевные силы»*...

1984

Западная Двина

СОДЕРЖАНИЕ

Незабвенный Мишуня. Повесть	3
Все ломается (Из записок ремонтника). Рассказ	42

КАРАБЧИЕВСКИЙ Юрий Аркадьевич

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ

Повесть и рассказ

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 20.12.90. Подписано к печати 28.01.91. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л.
2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,22. Тираж 90000 экз. Зак. № 3182.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

**ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИЖКИ,
ВЫШЕДШИЕ В ЭТОМ ГОДУ
В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие
годы»;
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»